



Ольга Бешенковская

БЕЗЗАПРЕТНАЯ ДАЛЬ



New York
2006

Дети полукультуры

Бешенковская О.

Беззапретная даль: Стихотворения. — Нью-Йорк:
Alexandria, 2006. — 228 с.

ISBN 5-93682-235-4

Эта автобиография — невыполненный социальный заказ.

Для сборника, который предполагается издать в Оксфорде, требовалось написать о себе пятьдесят страниц, а я исчерпалась уже на десятой. Там, собственно, не кончилось еще даже детство, но мне показалось, что все главное о себе я уже сказала.

Кроме того, от меня, видимо, ждали типичных, действительно имевших в жизни место, страниц: преследование со стороны КГБ, вынужденный уход в котельную — на самое социальное дно, несостоявшаяся творческая карьера. Но к 1990-му году все это уже стало новой конъюнктурой и общим местом. Внутренний протест против уже «перестроечного» карьеризма вызвал из памяти души совсем иные, невыгодные для «биографируемого», но тоже безусловно правдивые факты.

Уже перечитав написанное, я подумала, что если бы каждый из нас взгляделся в себя не под сиоминутным углом честности, в обществе бы не было такой конфронтации. Ибо все мы жили в этой стране и в этом времени.

*Ольга Бешенковская
Ленинград, 1990*

© О. Бешенковская, текст
© А. Кузнецов, фотографии

Дети полукультуры (АВТОБИОГРАФИЯ)

Родилась в скудном послевоенном. Отец вернулся из какого-то загадочного немецкого «бурга», где был назначен комендантом (Дантом?) и отозван по доносу кого-то из сослуживцев за «мягкотелость», то есть за то, что отдал приказ делиться армейской кашей с капитулировавшими женщинами и детьми. (После того, кстати, что его маму — мою бабушку, в честь которой меня позже и обозначили, фашисты сожгли живьем в сарае, в белорусской деревне, с двумя мальчиками Борей и Сережей, которым суждено было — было бы — стать моими двоюродными братьями...) Почему-то представлялось, что ехал он с войны по острокрышной (не гитлеровской, а гриммовской) Германии все эти — до моего вселения в мир — два года на расхлябанном трофейном велосипеде, о который нехорошими словами спотыкались соседи по коммуналке в узком, как трамвай, коридоре, по причине подслеповатой лампочки (предмета скандалов на тему, кто больше жжет) и повального ежесубботного пьянства.

Отец никогда не пил, вовсе, совсем, ни разу. Друзья вспоминали, как в летной части (деревенская няня рисовала мне — для уразумения — ангела...) менял он свои законные, «сталинскосоколиные» граммы коньяка и папиросы «Золотое руно» на квадраттики пористого шоколада для мамы и Валентина, который не стал в семье старшим, так как скончался трех лет от роду от стремительного тифа в медленном поезде, проталкивавшемся под бомбежками на Урал, как червь — в безопасную глубину земли.

Мама, схоронив его где-то на полустанке, наскоро, безымянно, вскоре обезумела в своей нижнетагильской многотиражке (здесь я прослеживаю некий генный петит...) от еженощных призраков сына в батистовой рубашонке, и рванулась на фронт, к отцу, под крыло — в смерч...

У фронтовых друзей отца были хорошие открытые лица, они иногда собирались за нашим круглым столом с неестественно сверкавшей в полутьме нищеты скатертью; в мандариновом блеске их медалей мнилось что-то церковное, и глоток воздуха вдруг застревал, застывал в натянутом горле, как в галерее 812-го года зимой — зимнего дворца, а летом — Государственного (государство — всегда с большой) Эрмитажа...

Фонетика в детстве воспринимается буквально, как и семантика. Поэтому лучше сочиняет тот, кто мало думает. Получается почти птичий... Я слишком часто морщила лоб вопросами, и первые мои стихи больше напоминали арифметические действия: решения смысловых уравнений, извлечение морального корня. К тому же вскоре мама по неведению своему вывела меня за руку на прямой путь, ведущий в бездну бездарности — привела в кружок при газете «Ленинские искры», где (и самое ужасное, что любовно, заботливо) учили на советских поэтов... Уже в горьком литературном возрасте, пройдя сквозь многие ЛИТО и лета, безжалостно расправив посягнувших на библейское звание Учителя, разочаровавшись в алкоголизме как в степени свободы, допустимой, почти проповедуемой именно советским поэтоведением, проникла я в историческую тайну своего рождения... Узнала по самиздатовской литературе, что точная дата его выпала на тридцатую годовщину российской драмы, и самозванно затрепетала: уж не в меня ли вселилась душа убиенной цесаревны?... И обвела в перекидном календаре ничем не отмеченное 17 июля траурной рамкой...

Но в том коммунальном послевоенном ребячестве, которому подсовистывал примус и подмигивали фольгой раскидай, и колыхались, зазубриваясь, средневековые замки огня в кафельной (вафельной) печке, до прозрения заблуждений было еще далеко...

Иногда в нашу дверь без стука, зато с грохотом опрокидываемых стульев, врывалась полосатая крутая тельняшка с волосятыми человекообразными ручищами. Это сосед, вернее, почти-

сосед, жених горластой тети Жени, жилички при кухне (это был на моей тогдашней памяти уже третий жених в отвратительном чаду котлет и капусты) приходил требовать у отца взаймы на том основании, что тоже кровь проливал. Я его боялась, начинала вдруг зябнуть и заикаться, но самое невероятное, что и отец, при всех своих разноцветных, как леденцы, орденских планках на пиджаке, кажется, тоже... Заслоняя от меня дурной пример (или меня — от темпераментного жениха), виновато протягивал мятую зеленую трешницу. Видимо, точно зная, что не вернет, но зато и долго не вернется...

Виноватость эту легко было бы отнести к интеллигентности или, как теперь мы говорим, к закомплексованности, наконец, к национальной, печально-комичной, шолом-алеихомовской обреченности априори. Последнее как-то не вязалось с ним, был он голубоглазым блондином, простоватым, и вообще долгое время слово «еврей» звучало для меня экзотически-зоосадно, вроде как «жираф». То есть не имело к нам лично никакого отношения. До, разумеется, экзаменов в университет... А во-вторых, нет, все-таки во-первых, для меня и тогда, и навсегда деликатное сострадание к миру, обычно принимаемое хамом за нерешительность, не вяжется с понятием «комплекс» от Фрейда и вплоть до Канта. Наше поколение жадно училось «чему-нибудь и как-нибудь» в том возрасте, когда уже время подумать о Душе — легоньком холодке с прописной буквы...

Об интеллигентности же в корневом, генеалогическом ответвлении или в профессиональном, говорить и вовсе сомнительно. Сын пекарихи, студент рабфака, отличник первого выпуска Института советских экономистов. Дипломная его работа о становлении планового хозяйства в Туркмении (где на его подушке, у виска, — рассказывал — несколько раз ночевали ядовитые змеи) была издана в твердом большевицком переплете, и на этом писательская деятельность отца прекратилась. Если не считать согретьх бытовым юмором и ощутимым удовольствием от самого эпис-

толярного процесса (о, скрытая страсть к графомании!) писем ко мне — во взаимных отлучках, а также старательных конспектов к политинформациям, уже на почте, на своей последней работе, где он, с тремя вузовскими дипломами, продавал в окошечко праздничные открытки... Стоит ли, заглядывая вперед, удивляться, что я, экстерном, заочно, за три года постигая премудрости универа, обрела в подвале почетный статус и покой кочегара... Такова, как говорил тщедушно-ответственный секретарь заводской газетки, путавший все нравственные понятия, газетки, куда меня по ошибке взяли, в нетрезвом виде шлепнув штамп в трудовую и не взглянув в паспорт, и откуда меня выгнали по совету КГБ за просочившиеся на Запад стихи и «белогвардейские тенденции в очерках», — такова — как он говорил — «конъюнктура судьбы»...

Об интеллигентности говорить странно (а не зная человека — и страшно, даже чудовищно) еще и потому, что до 1954 года отец работал в парковом Павловске, в учреждении, обозначенном отнюдь не безобидной отечественной аббревиатурой — МВД. Хотя и в самой, наверное, штатской должности, в плановом отделе. Я это помню потому, что иногда приезжала к нему с мамой в любимой ею и ненавистной мне фетровой шляпке с цветами, похожей на ядовито-розовую клумбу. Впрочем, визиты на папину службу прекратились, потому что однажды я его оскандалила, приняв протянутую незнакомым мундиром шоколадку за дощечку в фольге (меня так часто дразнил пьяный сосед, дядя Миша) — и во всеуслышание заявив: «Все вы врете, подавитесь своим подарком»... Вечером мама почему-то плакала, ночью родители шептались, утром отец — ощутила сквозь сон и упрямо мотнула головой — погладил меня по волосам и вздохнул... XX съезд партии едва не испортил наши доверительные отношения. Он, как у нас водится, лупил направо и налево (вот, видимо, как раз российский архетип отца родного), без тогда недопонимаемой мною, как всеми плебеями, за слабинку принимаемой деликатности... Вскоре папиной работой уже можно было пугать детей как всякой вошедшей в моду абстракцией.

Я не хочу ни умалить значения исторического события, ни — тем более, Господи упаси — обелить ведомство, окружившее ум, честь и совесть России колочей проволокой, чтобы партия пародировала их в своих новоязовских лозунгах. У меня с ним, с ведомством этим, свои, семидесятые счеты... Но после детского лубочно-пасхального (а истина ли воскресла?) ликования всей страны под новым правительственным иконостасом, во время затяжного культа безликости в моей голове зачирикали глупые вопросы. Почему народ и партия, единодушно объявляя каждый предыдущий кусок нашей истории ошибочным, являются друг другу безгрешными как сам Господь и святая дева Мария? Что это, святая наивность или, наоборот, отъявленный циничный разврат атеистического общества? (Думаю, что и нынешняя наша перестройка, — да разжмурьте же глаза, не потом, на прах, а сейчас, на живое, — очередная ступень карьеры лидеров нашей честности... Они и благословения испросят — на бизнес, и овошехранилища — наоборот — в моленные дома превратят, и приведут всю Россию к Исходу во всеоюзную здравницу — солнечный Израиль... Ибо им все равно кому и чему молиться...)

Будучи капитаном по званию, членом КПСС отец никогда не был. Его заявление осталось в гимнастерке парторга, погибшего в этом бою под Сталинградом. Переписывать не стал. Наверное, решил — не судьба...

Я тоже всегда была фаталисткой. А тогда, после головокружительного выдоха из репродуктора, после пионерской встречи в «Ленинских искрах» с сыном легендарного Якира (звонкие мои стихи: «Говорит нам о Якире, новый день благодаря, сын Якира, сын Сибири, внук и щепка Октября») — потом его опять посадят и он снова раскается — тогда у меня в глазах катастрофически потемнело от вывески над отцовской работой...

Воспитанная на подвиге (на подлости, понимаемой как подвиг) юного стукача и отцепредателя, увы, уже воспетого мною в тех же «Ленинских искрах» (детская душа особо воспламеняема

— если бы ее можно было застеклить от рук всех фанатиков...) со свойственным мне детским жестоким романтизмом, не вовремя пришедшимся ко времени (отсюда же потом и слесарничанье, и Север, и кольца — всем подвыпившим ромео на пальцы, — сколько же их было), — что я тогда могла сотворить, кроме... Нет, слава Богу, клязничать ни на кого, в том числе, на родителей физиологически не могла, но и предательство смысла презирала... В общем, адресованное лично отцу вдохновенное письмо, заклеенное — и тут же порезалась — языком, было оставлено на столе, а его автор с неряшливо закрученными косичками (их до сих пор заплетала мама) отбыл замаливать отцовские грехи на воюющую за освобождение Кубу. Со школьным портфелем, из которого без излишней сентиментальности и не без удовольствия были изъяты учебники, а на их место деловито засунуты соль, спички, три пачки «Беломора», фонарик и рекламный фотоальбом «Куба с нами», чтобы сориентироваться на незнакомом острове и сразу найти партизанский отряд по белозубой улыбке, окруженной бордой (вот он, марксистский нимб снизу) Фиделя Кастро.

Разумеется, мою пионерскую совесть, младшую сестру партийной, нисколько не беспокоил тот факт, что мама терпеливо нянчила мои любимые — по три-четыре в году — пневмонии, не работая благодаря отцовскому окладу. (Плебею свойственно презирать тех, чьими благами он пользуется, и это тоже отличает его от аристократа.) Не думала я, конечно, и о том, что родители убиваются, то есть — честнее — что я их убиваю. А когда инскаательно убивает поздний ребенок — это уже почти буквально...

Кстати, нельзя сказать, что наши общественные организации воспитывали в детях только плохое, только социальный идиотизм; в их моральных кодексах были перечислены и некоторые свойства, действительно отличающие человека от обезьяны, если других — более существенных, но принятых на веру отличий не наблюдалось... Не было здесь разве что самого, по моему разумению, главного: светящегося, очищающего чувства вины.

Не чужой, а собственной... Хорошо еще, если оно просто входит в состав крови, как какие-нибудь невидимые слезно-голубые тельца...

Водворенная домой в растрепанном виде (к обоюдному счастью и родителей, и освободительного движения, милиционер задержал «зайца» — за ухо — в московском поезде, и, таким образом, интернациональный патриотизм или, правильнее сказать, пионерский волонтаризм потерпел поражение подъезжая к Бологое), отмытая, оставившая в покое мировые проблемы и наевшаяся оладушек, я, лежа на своем диванчике за шкафом под тремя одеялами, вдруг стала вспоминать...

И вспомнила, что отец, раньше никогда не сидевший без дела (или пробки в коридоре чинил, мурлыча-фальшивя, стоя на табурете, или набойки накачивал мне на туфли уже не с мотивом, а с гвоздем в зубах), вдруг перестал ездить в парковый Павловск, вообще ходить на работу. И даже запрыгивать на табурет с какой-нибудь своей любимой арией (чем больше обделен человек в музыке, тем более высокую музыку он предпочитает, на классике не ошибешься), в общем, и пробки чинить перестал, хотя свет в прихожей гас и потухал не реже обычного... Я вдруг увидела все сразу: и навязшую в зубах кашу, и опустевший мамин платяной шкаф (где твои оперенья, погрустневшая наша красавица, впрочем, без них ты еще лучше, потому что вкуса у тебя было еще меньше, чем денег), и как в кадре, в открывавшейся в прихожую двери, темнел отец у коммунального телефона, часами сидя на том веселом табурете, на который больше не вспрыгивал... Теперь он изо дня в день звонил какому-то таинственному отделу кадров и каждый раз, вешая трубку, виновато бормотал: ну, на нет и суда нет...

О том, что беспартийного еврея, порядочного человека в тихих бухгалтерских нарукавниках, одним из первых вышибли из железной системы, чтобы отпартовать о замене «сталинского аппарата» и о том, что натуральные злодеи бессмертны, их

мимикрии может позавидовать любое пресмыкающееся, я догадуюсь еще не скоро... Когда сама начну звонить и стопчу не одну пару отцовских набоек по отделам кадров: с единственным своим желанием — где-то работать и единственной фамильной драгоценностью — пятым пунктом в анкете, который, как бриллиант, очевидно, даже боялись взять в руки: глаза инспекторов доходили до цифры «5», и пальцы рефлекторно отдергивались...

Я так подробно останавливаюсь на детстве, копаюсь и купаюсь в нем, не потому, что полностью разделяю взгляды Фрейда (хотя и люблю его читать), и вообще опираюсь на экзистенциальный психоанализ как на инструмент познания. Во всяком случае тому же Павлику Морозову (а себе — тем паче) я не приписала бы Эдипов комплекс даже не потому, что не подозревала в ту собственно «героическую» пору ни о существовании Эдипа, ни об античной литературе. (Даже Цветаеву, в подражании которой сведущие люди упрекали меня в 14 лет, узнала в 19, — о, сизифовы труды нашего — ощущую — языкостроения на песке, под которым прах многих цивилизаций...)

Мы просыпались под «Пионерскую зорьку», под оркестр кастрюль в коммунальных кухнях, просыпались медленно, годами, если не десятилетиями... Просыпались, чтобы открыть изумленный — возмущенный — просто пристальный — и наконец «восхищенный и восхищенный» взгляд на не до конца расхищенный мир...

Мы прошли путь от юношеского гнева до темной тоски с глубокой голубизной... Но детство было омрачено социальной патологией, никогда не проходящей бесследно. Как война «красных» и «белых», в которой победили серые. Как любая метафизическая мясорубка, из которой ползет реально кровавый исторический фарш.

Теперь-то мне ясно, что любая пропаганда возводит пороки в ранг достоинств, потому что она — как жанр — утилитарна, то есть, безнравственна. Собственно, это ее жанровое право. Но наше

право — заткнуть уши соловьиными плеерами от любой пропаганды. И заслонить глаза небом.

Из каких бы прекрасных побудительных толчков ни произрастала борьба — победа всегда ужасна. Победители безжалостны. Победители глумятся. Победителей судят. В России — по-смертно...

Я не совсем вегетерианка и не совсем пацифистка. Хотя с детства теряла сознание от фламандских картин мясных и рыбных отделов. Это не добыча. Это Освенцим. Травоядная корова, впрочем, внушает мне больше безразличия, чем аристократически поджарый лев.

Ноющий, брызжащий интеллект, густо произрастающий на бескровно-искусственной почве, в самом симпатичном случае — одуванчик на пустыре: дунешь — и нету...

У меня никогда не было одиночества не только с народом, не только ни с кем другим, но даже в собственной душе. Отсюда — разногласия моего поэтического голоса.

Библия, Ницше, Гессе, Томас Манн, Мандельштам, Бродский... Список можно продолжить, он стихийен, как самоинтервью «Что взять с собой на орбитальную станцию?» или — ближе к реальности — в Ноев ковчег... (Господи, не давай мне там места, я этого не стою, лучше спаси мою рыжехвостую цыпучую кошку...)

Несчастное сознание (гегелевский термин), в котором кишат «Я», как вермишель в кипящей пионерлагерной кастрюле, все еще переваривает мировую культуру. Детерминированный идеализм, если так можно выразиться. «Дети полукультуры», как признался один из наиболее образованных ленинбургских поэтов. Дети наихристианнейших в мире атеистов — добавила бы я под чудодейственные, разливные православные колокола над иудеями, не знающими дороги в Синагогу...

Ленинград, 1990

* * *

Что-то стала сниться вся жизнь, по сериям,
И почти что в каждом кадре — родители...
И не так уж важен распад империи,
Небо — вот что кажется удивительным!
«Не пора ли к нам? — слышу шепот в шорохе
Облаков и листьев. — Рискни, отчаливай...»
Ах, какие мы в благодати олухи,
И какое счастье — обрыв отчаянья...
Я уже спокойней камней, отглаженных
Чередой волн. Не киплю, не сетую.
Привести б в порядок дела бумажные:
То — в печаль высокую,
то — в офсетную...
И не то чтоб все, хоть вчерне, окончено,
Но ложусь пораньше, и руки — наголо...
И растет, и ширится купол сводчатый:
Рафаэля лоджии? Шелест Ангела?..

2000

* * *

Воскресни! Взгляни, что творится,
Какая — в наследство — Земля...
С могильщиком договориться,
О горестных метрах моля.
Что этому дельному парню
Эпохи наличных валют,
Что золотом — вечная память
Тебе, не погибшему тут...
Уснул на потертом диване —
Вернулся, считай, в колыбель
...На Пулковском меридиане
Отныне — моя параллель.
Сын века с повадками скифа
Кряхтит, не скрывая ленцы...
Последние авторы мифа
Уходят, —
прощайте, отцы!
Себе бы и горсть не просила
Земли, над которой стою.
Твой вечный защитник, Россия,
За взятку
 лежит
 на краю...

1980

* * *

Зачем ты, зеркало, мне мамино лицо
Являешь холодно, с подробным
подбородком...
Ужели так и замыкается кольцо:
Еще вздохнешь — и ты уже за
поворотом...
Вот этой складки не заметила вчера,
Зато сегодня — так отчетливо и
резко...
Дрожат, пульсируют, как жилки,
вечера,
И так пронзительно сияет
занавеска,
Что слезы копятся... Висит на
волоске
Одна...
Окликнули — и кажется: воскресла
—
с последней нежностью, не видимой
никем,
погладить ручку покачнувшегося
кресла....

1997

* * *

Кладбищенский Ангел мне дверь отворил,
Велел подождать за оградой...
Родители вышли, касаясь перил
невидимых, вея прохладой...
Дыханье — как взрыв у высоких ворот
в незримом присутствии Лица...
Ну что вам сказать? Продолжается род,
и нежно цветет земляника...
И совестно вымолвить что-то еще
на этом наречии бедном...
И сходит заря, как румянец — со щек,
и небо становится бледным...
И с места — не сдвинуться, будто нога
вросла... Онемевшие чресла...
И женщина в черном торопит, строга...
А женщина в белом — исчезла...

1997

БЕЗЗАПРЕТНАЯ ДАЛЬ

(СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ЭМИГРАЦИИ)

* * *

А умирать — на родину, дружок,
В родное петербургское болото...
Всего один пронзительный прыжок
На запасном крыле Аэрофлота!
Скользнет пейзаж, прохладен и горист,
Нахлынет синь — воздушный рай кромешный.
И ни один утрюмый террорист
Не просочится в раструб кэгэбэшный...
(Хранит Господь и воинская рать...)
Потом припасть к земле и повиниться:
Стремятся все в Россию умирать,
А жить — так вся Россия — за границу...
Как светел снег! Как церковь хороша!
Теней друзей порука круговая...
На честном слове держится душа.
На честном слове...
Крепче — не бывает.

2001

* * *

Помню, как это было: письмо — из-за рубежа...
Ну, конечно, разрезано... (Эти ли станут стесняться...)
В коммуналке соседи, на штемпель косясь, сторонятся
и швыряют картошку в кастрюли, от гнева дрожа.
Этот странный придуманный мир... Даже чуточку жалко...
Этот люмпенский пафос то ярости, то доброты.
Если кто-то помрет — в шесть ручьев голосит коммуналка,
и несет винегрет, и дерется за стол у плиты...
Где теперь вы, соседки, чьи руки пропахли минтаем,
а песцы — нафталином... Да живы ли? Ведает кто...
Иль сердца разорвались, узнав, что, хоть в космос летаем,
но в других-то мирах: что ни осень — меняют пальто...
Донеслись ли до вас басурманского Запада ветры?
Вот и нет уже в «Правде» размашистых карикатур
на чужих президентов... Я помню квадратные метры,
по четыре — на жизнь... (Напасись-ка на всех кубатур...)
Эта горькая честь, эта гордая участь Победы...
Как блестяли медали, и слезы, и ткань пиджаков...
А еще был алкаш, он без вилки — руками — обедал
и мечтал, что весь мир скоро освободит от оков...
Он дверьми громыхал на крамолу моих разговоров ...
Телефон — посреди коридора, прибитый к стене —
на бордовых обоях среди золотистых узоров,
что поблекли давно и достались дописывать — мне...
Может, так и пестреют друзей номера... Или все же
разразился ремонт и явился хозяин всему...
И — конец коммуналке. И сгинули пьяные рожи.
Как вишневый мой сад... Так затеплю хоть строчку ему...

2001

* * *

Как проста в России нищета:
Нету хлеба — понимай буквально...
Блюдо ослепительно овально,
Как ночного тела нагота.
Вот и эта пройдена черта.
Время — вспоминать сентиментально...

Уходя — не медли, уходи —
Или мозг взорвется в одночасье...
Господи, какое это счастье,
Если только юность позади...
А теперь — и родина... В груди
Как в стране — разруха междувластья.

И куда мы каждый со своим
Скарбом скорби... Темен сгусток света.
Постоим. Рука в руке согрета.
Зябко, но не холодно двоим.
И услышим в шорохе руин
Лепет листьев будущего лета...

1996

* * *

У эмигрантов не было взрывчатки,
Им было все — действительно — равно...
Они меняли страны — как перчатки,
И всюду пили терпкое вино.

И сторонились праздников народных,
И если шли — то в смертный батальон,
Чистопородных предков благородных
В непропитый защелкнув медальон...

А если Бог давал еще попытку:
Гарсоном — в бар, извозчиком — в такси, —
На ветровое клеили открытку,
Шепча почти молитвенно: «Росси...»

Я тоже здесь, мне тени их все ближе...
Горчит лимон, изранивший вино...
И я, ночами шляясь по Парижу,
Не проиграю память в казино!

1997

* * *

И как будто опять сотворенье начал:
виноградная дрожь и сгущение красок...
Но всего только шаг до срывания масок
и уже не Венеция — голый причал...

Никогда не стремилась, «чтоб как у людей»...
Может, Ангел Судьбы за терпенье потрафил...
И клюет с бело-розовых рук площадей
ястребиное зренье российских метафор.

Я пила и хмела полночный Нью-Йорк
из высотных бокалов (навыдумал зодчий)...
И теперь, если сердце отчаянно «ек» —
значит, в доме случайном почудился отчий...

Я читала размытых огней письма
в перевернутых книгах и Сены, и Темзы...
Отпусти мою руку. Шершава она.
Это в детстве... Чернила... Напильником пемзы...

1997

* * *

Знаю: Родина — миф. Где любовь — там и родина... Что ж,
не вдохнуть и не выдохнуть, если ноябрь и Россия...
Лист шершавый колюч, как в ладони уткнувшийся еж,
и любой эмигрант на закате речист, как Мессия...
Ибо обе судьбы он изведal на этой земле:
от креста оторвавшись, он понял, что это возможно:
и брести, и вести босиком по горячей золе
сброд, который пинком отпустила к Истокам таможня...
Для того и границы, чтоб кто-то их мог пересечь
не за ради Христа, не вдогонку заморских красавиц;
и не меч вознести, а блистательно острую речь!
И славянскою вязью еврейских пророков восславить,
зная: Родина — мир... Где любовь — там и родина... Но
и любовь — там, где родина... Прочее — лишь любованье...
Как темно в этом космосе... (Помните, как в «Котловане»...)
А в России из кранов библейское хлещет вино...

1998

* * *

Чужая речь, как птичий щебет,
твоих ушей коснется лишь —
не заползет в глухие щели,
где сокровенное таишь;
маршрутный лист над головами
меланхолически читай
и ежедневный путь в трамвае
един — Париж или Китай...
Везде покачивает сумрак
и содрогает поворот
носильщиц грез и тяжких сумок,
что называются — народ...
Кивают вяло подбородки
поток встречной чепухи...
Где итальянские красотки?
Где Елисейские духи?
Ты все придумал, Боттичелли!
Ты обманул меня, Вийон!
Мир — деревянные качели:
сабвей — убан — метро — вагон...
И я сама — не гость высокий —
сижу тихохонько в углу,
дрожащей жилкою височной
припав к прохладному стеклу.
И пребываю за границей,
хотя считается — живу...
А пятки — чуть смежишь ресницы —
летят, как яблоки, в траву...

1997

* * *

Ах, фломаркт — путешествие бедняка:
по блошиным ценам — в несбывшийся мир летай...
Куплю вишневого будду — пузатенького божка,
куплю — и больше не буду хотеть в Китай...
Разложу сувениры: все это мое ужель?
На скрещеньи ветров кружится голова...
Филиппинский усталый слоник и голладская гжель,
и — как вздох — брюссельские кружева...
Ничего и не надо больше, в душе — покой.
Прогуляюсь на ночь у дома, и спать — ничком.
Дорисует память выдох до слез морской,
ипподром испанский и взвившийся хлыст — смычком...

2003

* * *

Человек-невропат
появился на свет невпопад.
Все смеялись и пели,
а он только хныкал и плакал...
И будильник над ним
так настойчиво тикал и такал,
что устал и уснул...
Человек же — проснулся и рад!
Все уже позади: ненавистная школа и двойки;
можно плыть далеко и мороженым горло студить...
Безапретная даль — опустели родителей койки...
Зарыдал невпопад, что не смог до Земли проводить...
Человек-невропат завернулся в купальный халат
и в метро погрузился, и, видимо, ехал куда-то,
и в газету смотрел, и отметил эпохи распад,
и вернулся — вдвоем, не заметив такого расклада...
Чем хорош постулат?
Что живет человек невпопад,
посещает работу,
порой получает зарплату,
или — наоборот...
И дела его дышат на ладан...
И взялись уже над его головой — за лопату...
...Но сперва от звезды
отделился сияющий атом:
Человек Человекович —
плакать и петь невпопад...

1996

Невеселая песенка

Друзья мои, прекрасен наш союз...

А. Пушкин

Друзей моих медлительный уход...

Б. Ахмадулина

Друзья мои, мы как теперь живем?
Нас утешают разные пейзажи.
Лелеем память, морщимся продажи,
Как наркоманы, колемся: жнivelyем...

Ты говоришь, в Израиле — жара,
Он говорит, в Нью-Йорке — суматоха.
А разве, братцы, это так уж плохо:
Друг другу сострадать из-за бугра...

Не для того ли всех нас размело,
Чтоб убедиться в круглости планеты,
И что другой страны на свете нету,
Где не рассердит за полночь «Алло»...

Друзья мои, распался наш Союз;
Он был не наш — он был Страны Советов.
Но радость победительная эта
Срывается в отчаянную грусть...

И я живу — как сплю навеселе,
И по-немецки называю завтра...
И расправляю карту на столе —
Как будто нежно глажу динозавра...

1998

Метастазы грозы раздаются в осеннем саду.
Я теперь поняла: боль не тлеет, а громко сверкает.
И рыдания небес, подхватившие с пеной — звезду,
с плеч покатых стекают...

стекают...

стекают...

Стихает.

Оглянись и увидь, никого и ни в чем не вина:
неба розовый край... Черный крестик — наверно, Иуда...
Мы стоим как волхвы над рождением нового дня,
и каким бы он ни был, для нас он — великое чудо...

1997

Монолог

Пожелайте мне долгие лета!
Я — песчинка нездешних морей,
Неприкаянный житель планеты,
Заблудившийся русский еврей...
Все чужое: и паспорт, и говор,
Всем чужое — куда ни приткнись...
Без названья кубический город
Громоздится и светится ввысь!
Не почетно, но и не позорно
Поискать свое счастье вдали.
Прорастают прогорклые зерна
Из растресканной жаждой земли
Сквозь песок, через дыбу и дамбу...

И однажды, шагнув напролом,
Смуглый воин из племени мамбу
Прослезится и скажет: «Шалом!»

2000

* * *

Солнце осеннее,
Солнце закатное.
Листья засеяны,
Стекла заплаканы.

Дети простужены,
Клацают пломбами...
Птицы разбужены
Шумными бомбами...

Поиск спасения.
Спад населения.
Землетрясения
И наводнения...

Где ж ты, Отец,
Наш заступник... «Ой, мамочки,
Свету — конец!» —
Голосят нострадамошки...

Солнце осеннее
Бледно — как померло.
Время рассеянья
Родины — по миру...

Гонка за «бабками» —
Надо, не надо ли...
Снова бабахнуло...
В Грозном ли? НАТО ли?..

Кровью закапано
С веком прощание.
Солнце закатное —
Дня обещание...

2002

* * *

Ностальгия — не выдумка большевиков,
Ностальгия — по юности стон...
Оттого-то и снится не скрежет оков,
А чудесный малиновый звон...
Оттого-то, озлясь, как шукшинский герой
(Тяжелее грехи на весу...),
Припадаешь измятой и мокрой щекой
К чужестранным березкам в лесу...
Сколько в этом и пошлости, и тишины,
И прозрение, и нежный дурман —
Все, чего человеки навек лишены,
Обалдело уткнувшись в экран...
Не спешу покупать я обратный билет,
Чтобы скрипнул сияющий наст:
Слишком страшно увидеть, что станции — нет,
Что она не в пространстве, а в нас...

2000

* * *

Россия, родина,
когда бы знала ты,
кто будет тосковать,
скупая киноленты...
Отребье, пасынки, еврей-диссиденты,
твоих обочин сорные цветы...
Оно, конечно, сладок русский слог,
но языки умеют полиглоты...
А те, что глотки драли, — патриоты,
бегут гурьбой на Запад и Восток...
Что за картинка: крысы с корабля...
Им все одно: где — сладствовать,
что — славить...

А я — молчу. Мне нечего добавить.
Саднит во сне измученная память.

И кто ж тобой опять рванется править,
в пучину уходящая Земля?..

1999

* * *

Если я и люблю иудейский печальный народ,
то его неприкаянность, а не торговые сделки...
Как сияли глаза из дремучих библейских бород:
через море — о, да... Все иные критерии — мелки.
И когда их сжигали, зародыш мой бился в золе...
Вы же, маклеры крови, сойтись норовите ценою...

Я — песчинка Израиля в мерзлой российской земле.
Я — былинка России над павшей берлинской стеною.

2001

* * *

Болдинская штутгартская осень...
Тютчевские мюнхенские зимы...
Мы — невыразимы,
и не очень
сами на чужбине выносимы...
Все нам здесь не так и не такое...
Вот ведь и шампанское — с обманом:
видите, написано «сухое»?
Мокрое, коль плещет по стаканам...
Что это, скажите, за томаты?
Дутые, на химии тепличной...
(Наши пестициды и нитраты
выглядели все же симпатичней...)
Тонкие язвительные жала
тихого немецкого уюта...
Вот ведь и Цветаева сбежала...
В пеглю, но сбежала почему-то...

2000

* * *

Папа видел Берлин в 45-м году
И с тех пор никогда не хотел за границу.
По горячим камням, не касаясь, иду,
И темнеют готически острые лица....
Мы похожи с тобой на дневных мертвецов,
Что слоняются между жующих сосиски...
Выпьем, брат мой немецкий, за наших отцов
И за их охлаждающие кровьobeliski.

2000

* * *

Ты, Германия, — Обмания:
завлекаешь на беду...
За тебя, страна Германия,
воевать я не пойду...

На любое приближение,
даже если на вершок —
отвечает небрежение
и язвительный смешок...

Как же мне с моими генами —
все же «избранный народ» —
жить в ладу с аборигенами,
их разламывая «брот»...

Вздорным нравом отличаются,
пожимают пальцем — пять,
в кнайпах с песнями качаются...
(Докачаются опять...)

Но наивом и наитием
наши светятся дома...
И вставляют победителям
здесь улыбки задарма.

1999

* * *

Провинция, ты рай для Хлестакова,
Веселого, хвастливого такого,
Он даже обаянья не лишен
В провинции, лишенной обаянья...
Все кстати: и подцепленные знания,
И скользкий, на закуску, корнишон.

Я думаю, что Гоголь от героя
В восторге не был, но ему порою
Благоволил, подначивал: — Чеши!
Они давно заждались ревизора...
А ты, мой друг, не сбрендишь от позора —
Я не вложил стыдящейся души...

И Пушкин, подсказавший эту тему,
Злорадствовал: — Примите хризантему,
Мамамы, недостойные любви
Смущенного российского пиита,
Кто знал, чем зажигаются ланиты...
Но... ум и злость! И честь, ее язви...

И я в своей неметчине унылой
Все не могу собраться с новой силой,
Да и зачем — ведь сказано уже...
Все как всегда на этой тверди зыбкой...
Перечитаю Гоголя с улыбкой —
И жизнь светла, и ясно на душе.

Поглубже втянем дым — и приглядимся:
Благоухают наши проходимцы
По всей Земле в салонах дураков.

И в глубине гогочущих провинций
Кончают век российские провидцы,
Лелея боль от сорванных оков...

1998

* * *

В полвека век свой доживать —
Какая, в сущности, банальность...
Вот — стол, вот — лампа, вот — кровать,
В родимых пятнышках бананы...
Как благодарны все за них...
(Для обезьяны нет чужбины...)
А мне и стопка новых книг
Не в силах скрасить именины.
Там — Ангел мой, где был мой черт,
Где неба синего — с овчинку,
Где по лицу ливня течет,
Где счетчик Гейгера стучит,
Где слову русскому — почет
И робкий лист приник к ботинку...

1999

* * *

Кизила яркие молекулы,
Кровинки, красные тельца...
И пахнет возрастом календулы
И назиданьями отца...

Мне летний Крым — всегда каникулы.
Забыты происки Калигулы,
Бонжюр, повадки сорванца!..
И вот, наивней Пиросмани, я
В Европу радостно лечу.
Мне дарит Южная Германия
Кизил, каштаны, алычу.
И немцы — нет, не виноватые,
Заносчивые — по домам...
И слезы слив продолговатые
Текут лилово по холмам.
С балконов пряно пахнет грилями,
Стоит пожарами герань.
А по холмам — ступали римляне,
В ту, догераневую, рань...
Подсолнух медленно вращается,
И воздух жадно ловит рот...

А детство — нет, не возвращается...
И ничего не воспрещается...
И сердце скорбно причащается
Судьбе бездомных и сирот.

1999

* * *

На площади (зеваки — в сборе,
но мало их — не напирают...)
выпускники консерваторий
за жалость медную играют...

На площадях всем хватит места...
(Вразвалку — кто, а кто — в обнимку...)
А ну-ка сбацайте, маэстро,
непревзойденную «Калинку»!..

Монетой мелкой потакая,
смеются, будто раскусили...
Им очень нравится такая,
неприхотливая, Россия:

когда тихи ее куранты,
когда фронты не напирают...
И с голодухи музыканты
«чего изволите» играют...

Ребята, может быть, не надо? —
Учитесь в армии на «ромбы»...
Глядишь, улыбочное НАТО
и на Москву обрушит бомбы...

Я помню, как со зверской рожей
пел на закуску дядя Вася:
мы — люди мирные, но все же
наш бронепоезд — он в запасе...

Неужто прав сосед-вояка,
что, если выпимши, — скандальный:

стращать всех надо, а не плакать
и на планете коммунальной... —

Пусть крепко помнят круги Данта
и сталинградские окопы...
И как входили музыканты
шеренгой в черную Европу...

И кто б военному оркестру
подать осмелился на бублик?..

Я — враг Советов. Но, маэстро,
сыграйте им в канун Сильвестра
Гимн не расхищенных республик!..

Дни бомбардировки Белграда

* * *

Я вспоминаю Тауэрский замок,
где ворон, переваливаясь, брел:
полуиндюк-полуорел...
И мудрый — в отдалении от самок...

Мне есть что вспомнить — можно уходить,
забрав с собой нехитрые пожитки:
под веками — две дымчатых открытки,
Нева и Сена, сросшиеся в нить...

А то, что не охотилась на льва —
так это мне и Бог не разрешает;
и умереть нисколько не мешает...
Да и своя дороже голова...

А то, что рикшу брать не довелось,
и вдоль стены китайской не гуляла, —
переживем...

Там тоже есть немало
что поглядеть...
Что в Этой — не сбылось...

1996

* * *

Раньше снился Париж:
весь в дрожащих огнях —
разноцветных драже...
(Что, наскучил уже?..)
Сладкий привкус мечты,
конфетти Писсарро
и дождей мулине,
и Моне...
Сквозь сиреневый сумрак,
скупясь, проступали черты...
Я привычно дремлю, прислонившись к стеклу,
«Что? — зеваю. — Mersi...»
Мне б щекотного сена охапку...
Проси — не проси:
только мутная Сена течет,
указуя маршрут ремеслу.
Вот и снятся бревенчатый дом и трескучий мороз
или розовый туф и гортанная речь Еревана...
Prosit; — бедная родина...
Странен обычай и прост:
покидаем тебя, и горбата печаль каравана...
Самарканд нашей Турцией был,
а Европой — Литва...
И на всех языках: горечь — клейкая клятва — листва,
поэтический пыл.
Кыш, видение, кыш!
До Невы и Псковы так легко не добраться, а то бы...
И шуршит по шоссе монотонный субботний автобус:
нету денег и времени, — стало быть, снова в Париж...

2001

* * *

Будто в царстве теней — так тиха эмигрантская жизнь.
Только — чу — за спиной — хитроумные шорохи лисьи.
Вот и осень опять. Разноцветная память, кружись!
Прижимайтесь к ногам, потерявшие родину листья...
Это время мое: золотая, без грязи, печаль.
Паутинка блестит... Обойти, не задев паутинку.
С неуютом в крови не Господь ли меня повенчал?
(Если тесно ступне, то едва ли просторно ботинку.)
Что-то исподволь жмет... Может, строчка о Царском селе,
Где лицейское братство бродило в дешевом портвейне...
Оголилась душа. Разметало друзей по Земле.
И не верность в цене, а наемный убийца — ротвейлер.
Я породы не той. И не тех предприимчивых вер,
Что идут нарасхват: кто — в сутаны, а кто — в бизнесмены...
Мне явилась звезда, полуночный небесный курьер,
И велела не знать сотрясений плебейской арены.
Молча в чащу уйти, чтоб и солнечный луч не сыскал,
Чтобы вечнозеленой тоскою душа искололась:
И сверкнет, и окатит такой колокольный вокал,
Что отпрянешь на миг, не узнавшая собственный голос...

2002

* * *

Отсюда — так незыблемо и свято:
Природы русской сочные цвета...
Коза была похожа на Сократа
(Вестимо, до явления куста)...

Пленительная изб архитектура —
Как Пушкин: гениальна и проста...
И как под снегом ежилась сутуло
Стыдящейся березы нагота...

Мне вспоминать — и не навспоминаться,
Как не напиться страннику в пути...
Пустыня Жизнь, мираж иллюминаций
На склоне лет страдальцу не черти...

Все так сбылось, как в школе проходили,
Как блеет в спину пьяный патриот...
А благ мирских и пошлости идиллий —
Избави Бог, что здесь зовется Gott...

1997

* * *

Право, славно — выпить православно,
Захрустев огурчиком огонь...
Как вы там, Петровна, Николавна
И другие образы тихонь?..

Как вам спится на железных буклях?
Также ль тянет свежестью с реки?
Ваши руки тяжестью набухли,
Как на ветках — яблоч кулаки...

Вольно вам в предутреннем тумане
Путь заветной тропкою продля...
...Никаких Америк и Германий:
Лишь деревня Редькино — Земля!..

Мне за вас и радостно, и жутко;
Вот звонит наш колокол по ком...
Ну а дочки... Дочки ...в проститутки
Убегли — как были — босиком...

1997

Матерям моряков посвящается

Адмиралы — луженые глотки
И озерные дачи...
А сынки умирают в подлодке,
А их матери — плачут...
Мог и мой бы сейчас оказаться
В этой вязкой пучине...
К Ярославской припасть ли, Казанской —
Помолиться о сыне...
Помогите, и Боже, и НАТО,
Кто угодно — спасайте!
Адмиралы же медлят: не надо,
Сами, дескать, с усами...
Что мне, бабе, секреты военных,
Мне бы сыну — озона!
Ваши тайны и так непременно
Все — в кармане шпиона...
Знаю только: смертельно опасно
Жить в стране твердолобой,
Где гордыней краснеют лампасы,
А не щеки — стыдобой...

2000

* * *

Досмотреть эту жизнь до конца, проморгав переход
в тишину Тишины и в Господне пространство иное...
Отчего негатив? — Бело-черный булгаковский кот
на ученой цепи... (Метафизика иль паранойя?)
Я не верую в рай, кроме детства, когда махаон
трепетал на ладошке, ее перепутав с ромашкой.
С рельс взлетел паровоз. Отмелькал золотой марафон...
Гол Приемный Покой. И невидимый почерк размашист.
Снег слепит, как в саду царскосельском в крещенский мороз.
Я не верую в суд, кроме честного взгляда в зеркало...
Этот легкий дымок изо рта — этот вечный вопрос:
неужели Душа? Неужели уже отмерцало?
Дотерпеть эту жизнь, эту боль, и очнуться в другой,
где Иисус не распят, не отравлены реки и книги.
Доверяя земле, трогать тропы босою ногой
и не знать, что за крылья повсюду расплата — вериги...

2004

* * *

Как хочется, отринув графоманов,
перечитать восторженно словарь...
Он сам — роман (взаимней всех романов),
он в полутьме блистающий алтарь.
Я подхожу с волнением к полке книжной,
протягиваю руку наизусть...
И больше нет назойливой, облыжной,
придуманной реальности... И пусть
слова бессвязны — так еще острее:
последний шепот... нежный монолог...
И это — жизнь. Галоп ее хорея.
И взорванный дыханьем потолок!
Я все пятьсот страниц читаю слитно,
и смысл, и ритм, и фабулу нашед...
Осколки слов, сверкнув метеоритно,
опять срослись в Божественный сюжет.

2002

* * *

Умереть в нищете и безвестности —
не такая уж доблесть и честь...
Разрушая устои словесности,
не мешает и книжку прочесть...
Позабавиться быстрыми бликами
на других отражавшей воде.
Мир давно распрощался с великими:
прежде — в нимбе, потом — в бороде.
Продолжай, я внимательно слушаю
(скулы держат зевоту в тисках)...
Рифмы ширятся, шлепаясь грушами,
и срывается бас на дискант.
Право, скушно... И жалко мгновения.
(Их пора экономить уже...)
И мелькнет: а не выгнать ли «гения» —
пусть блажит на другом этаже...
Я такое слыхала и видела,
что тебе и не снилось, дурак...
И достойного почестей витязя
отпускала в тюремный барак.
Мне давно уж смешны обожатели,
подражатели жизни враспыл,
губошлены, под ветром дрожатели,
сокрушители строгих могил,
проходимцы беспочвенной местности,
где юлит обоюдная лесть...
...Разрушая устои словесности,
не мешает и книжку прочесть...

2002

* * *

Мне кладбища милее улиц,
где шум, торговля, толчея...
Брожу, нахохлясь и ссутулясь,
ничья жена и дочь ничья,
чураясь памятников гордых,
склоняясь к датам и цветам.
Как ровно дышит город мертвых,
мир поделив на «здесь» и «там»...
И стыдно лжи и мелкотемья,
и дней, затоптанных с толпой...
...А после — хоть пляши и пой:
ты все равно уже не с теми...
С изнанки легкий холодок
пророс в душе, ее спасая...

Где бродит истина босая,
отлив тебе еще глоток...

2004

* * *

Провинциальный мой покой
встревожит разве телеграмма...
Пригубить три бодрящих грамма
и надломиться над строкой...
Да не своей, а Мандельштама.
Наверно, я уже в раю,
поскольку так и представляла
обитель тихую свою,
где кружка, книжка, одеяло.
А если кто-то скажет «мало...»
Глупец! Над бездной... На краю...
Спартанский, нет, германский дух,
нет, философия солдата
в любом бою: обнимешь брата — и рад.
И жизнь — жужжанье мух!
Вон, заплутавшая, одна
все бьется в свет, слоду ломая...
Какая разница, какая
эпоха, непогодь, страна...
Немного красного вина,
немного памятного мая...
Вздыхни. К окошку подойди...
А там — там целые романы:
голубоватые дожди,
голубоватные туманы...
И в белой плесени платаны,
как в седине...
Как — позади...

2004

* * *

Рождество под дождем — дождество...
Танец капель без музыки света.
Просто тождество — не торжество
(так куплет не достоин сонета)...
Адекватность календарю.
Образок в нашей памяти ветхой...

Хочешь, я тебе мир подарю
с этой мокрой рябиновой веткой?

Не расслышал. Не понял. Устал.
Не поверил. (Какая досада...)
Далеки нашей жизни места
от чудес Гефсиманского сада,
от звезды Вифлеемской, от бед,
что Его вознесли над толпою...

Талый воск. Ритуальный обед.
И — nach Hause... скользкой тропой.

2004

* * *

Золотые ангелочки, свечки, пряник, Рождество...
Так в блестящей оболочке исчезает существо.
Искры смеха, карусели, фантик, сморщенный в горсти.
И висит над всем весельем: «Боже праведный, прости...»
Что творят — не знают сами: праздник, пошлость, тарарам.
Ты своими небесами прикрываешь этот срам.
Ты им снова пригодился — пожалей своих калек...
Дети. Дети, кто родился? — То ли ангел, то ли снег...
А потом, когда стихает день, начавшийся с туза,
по щеке моей стекает Вифлеемская слеза...

2004

* * *

Плохо человеку — одному.
Жметесь к церкви. Проситесь в тюрьму...
(Так и сублимируются семьи...)
Хоть к какой-то общности примкнуть,
закурить, налить и помянуть
на одном дыхании со всеми...

И когда б Христос ни пролетал,
наши даты — только ритуал,
ибо все мы жаждем ореола
над его измученным челом.
Ибо он, боровшийся со злом,
сам же стал и жертвой произвола...

Человек не так уж виноват,
что кричит восторженно «виват!»
в дружном хоре, к коему приткнулся.
И, конечно, вовсе не подлец
гений нибелунговых колец —
просто он с другими разминулся...

Что там Заратустра говорил?
Говорил, что мы не из горилл,
но столкнулся с обезьяньим веком...
Кто дожить сумеет до седин,
гордо и несломленно, один, —
должен быть и впрямь сверхчеловеком...

Радуюсь нечаянной судьбе:
мне везде чуть-чуть не по себе —
и не кошка, и не канарейка...

Песнь моя царапает, летя.
Кто я? Духа блудного дитя:
русская — в Германии — еврейка...

Плохо человеку одному?
Вот и славно: мысли по уму
подберем, и чувства — по карману
на груди... А праздновать? — Бог весть,
с кем, когда...
Покуда силы есть,
Не поддамся сладкому обману...

2004

Интеллигенты советской поры
в серых пальто соловьиной невзрачности...
Чистоголосые, тихи и мудры,
и художба — до осенней прозрачности.
Вздорг от звонка — не плебейский испуг,
но — осторожность: успеем, рябятя, мы,
поднакопивши деньжонок, — на юг,
если не в пермскую стынть 35-ю...
Интеллигенты советской поры
слушали ночью «Свободу» и Галича,
спали, готовы взойти на костры.
Было ли это? Да, Господи, давеча!..
Драма окончена. Занавес снят.
Окна распахнуты! Цепи разорваны!
И диссиденты друг друга бранят,
бывших врагов развлекая разборками...
Интеллигенты советской поры
плаваются в славе, как мягкое олово.
Не для того ли нужны топоры,
чтоб не кружились беспечные головы?..
Чтобы чердак — будто царский чертог,
чтобы весь мир — в темноте — кинолентами...
Полнятся Запад, и Юг, и Восток
старыми русскими...
...Интеллигентами?
Зависть и злоба, возня за чины.
Вот ведь: свободны, согреты и денежны...
Хоть на четыре кричи стороны:
где же вы?

Где же вы?

Где же вы?

Где же вы?..

2004

* * *

Лидии Розин

Русский немец — он более русский,
чем заснеженный громкий трамвай...
Над своей немудреной закуской
матерится, как в поле Мамай...
Неужели надменные деды
в путь решились вот этого для?
Сломают голову языковеды
над артиклем таинственным «бля»...
И, грустя не по-ихнему пылко, —
будь что будет, но что-нибудь — будь!
Русский немец нашарит бутылку
рефлекторно, как мамину грудь...
Сеял «брот». Разбирался с ментами,
Нахлобучив картуз до бровей...
И теперь угощает мантами
мандовошек арийских кровей...
Перегнули мечи на орала.
Наорались. Рассыпали строй.
Ох, и злую ты шутку сыграла,
жисть ятицкая... «Фэнштэр закрой...»
И, явившись откуда-то невесть,
закруглив исторический путь,
бьет себя новоявленный немец
кулаками в советскую грудь...

2003

* * *

Невнятен мне иврита иероглиф.
Так получилось. Так задумал Бог:
чтоб мы, его разведчики, продрогли
в стране, где снег, и версты — без дорог...
Не заносясь, не праздновали труса
и не молились идолам чужим.
Он, верно, видел в каждом Иисуса,
он, может, этим только-то и жил...
Но — разбрелись в полпреды и в чекисты,
в ростовщики, в торговцы всем и вся...
И — умер Бог.
Проворный и речистый
живет народ, по свету колеся.
Растет себе, штудирруя науки,
забыв о главной, брошенной в пыли:
что избран был он Господом на муки,
а вовсе не в президиум Земли...
Вот потому и вязнем в бездорожье
(куда ни глянешь — слезы по щеке),
вдруг вспоминая всеу имя Божье
на непонятном вещем языке...

2004

* * *

Даниилу Чкония

Я живу на ROTWEG, 43:
красный путь — колхоз, а не Европа...
Адресок хорош для агитпропа
и тревожен, что ни говори...
Мой приятель, местный коммунист
(слава Богу, только в воскресенье,
с кружкой пива, благостен и чист...)
видит в этом родины спасенье.
(В остальные дни — капиталист...)
Вот ведь рифма... Знаю, что бедна,
ну, а с кем срифмуешь этих «истов»...
Не сказать, что страшен, что неистов —
безобидна спящая страна...
Я живу, не помню, сколько лет,
и привычно вижу слухом ранним
мирный шарк соседских сандалет
в направлении к пламенным гераням...
Но живу на ROTWEG, 43 —
ни в каком похмелье не забуду...
И, хотя еще цветочки всюду,
все боюсь, что что-то возгорит...
Усмехнусь, пощупаю висок,
оборвав себя на полуслове...
Не спасает цитрусовый сок —
тот же привкус горечи и крови...
Красный путь... С тебя нам не сойти...
Так судьба преследует, наверно...
Не сбежишь: откроется каверна
безнадёжно красного пути...

Ни при чем тут прессы вороха
и в рейхстаге громкие скандалы.
(Здесь бояться б надо, что вандалы
Вновь проломают голову стиха...)
Ну а я о ROTWEG, 43,
где мой дом — кровать и кабинетик...
Я ведь не политик, а фонетик:
слышу звон — и маюсь до зари...

2004

* * *

Д. И. Гарбару

О смерти — рано... Поздно — о любви.
Жизнь пересохла, как зубная паста.
Не пошлость ли: салатом оливье
Закусывать печаль Экклезиаста?
Свеча горела... Все еще горит...
Сквозняк росток светящийся колышет...
Блажен, кто о пустом не говорит:
Он, может быть, сподобится... Услышит...

* * *

Стих не выдохнуть: в горле — комом.
Горний свет стал игорным домом —
Богоматерь над Ильичом...
Жить в Америке иль в Париже,
или все же к Москве поближе?
Я не знаю, мечтать о чем...

Виновато ль созвездье Рака? —
Слышу плач матерей Ирака,
Израэля, и шепот «пить»...
Боже, дай мне беруши в уши!
Я хотела бы бить баклуши,
я устала тревогу бить...

Лес горит — и трещат суставы
у меня. И летят составы
в пропасть. Сердце — за ними вслед...
Не рошцу на судьбу свою я,
но стерпеть, что, за нефть воюя,
сгинет Лермонтов наших лет?..

Наложив на печали вето,
дотащусь до иного света,
чтоб увидеть: и там — содом.
Все распродано тем же самым...
Элегантный воздушный слалом —
и Сизиф со своим трудом.

Нету третьего полушарья.
Весь Манхеттен — Иван да Марья
на тоношеньком стебельке...

Нету третьего измерения.
Боже, дай мне другое зренье,
чтоб в тумане да вдалеке...

А иначе не будет прока:
мне барак заслонит барокко.
(Полон слез вещевой мешок.)
Или дай олимпийской воли
жизнь прожить на скрещенье боли,
за улыбкой скрывая шок.

2003

Памяти поэта

Слава богу, что так, в Елабуге,
а иначе бы шли за гробом
равнодушно смурные лабухи,
каждый — нанят, и каждый — робот.
А в Париже или в Берлинии
проводжали бы языками
злыми. Платьями — сплошь павлиньими.
(Время — бросить последний камень...)
Кто травил — тот бы первый — плаксою
над челом, что уже увенчано...
Если мазал при жизни ваксою,
возопил бы: «Святая женщина!»
Ты и так им, как Богородица,
отдала все свое святое...
Не страдают от безработицы.
Не бывает у них простоя:
расшифровывают, печатают,
набиваются в фавориты...
Хорошо, что ушла, печальная,
прямо к Богу! — Без волокиты...
И — поклон тебе от поэзии.
И — ночной мой дрожащий шепот...

Мне легко танцевать по лезвию:
у меня — твой бессмертный опыт...

2004

* * *

Не в стране, не в году —
я живу в измеренье ином.
То к Вольтеру иду
ядовитым погреться вином.
То от рифмы «огонь»
простодушно пылает щека.
И вселенскую сонь
колыбелит напев ямщика.
Подтвердит программист:
«Так и есть, виртуальны миры...»
Дурачок, оторвись
хоть на миг от любимой игры.
Здесь не сайт и не чат,
что мелькают, друг друга пожрав.
Видишь — озеро Чад,
где изысканный бродит жираф...
А подвину курсор —
и Елабуга, перстень, петля...
Небо — мой монитор.
И бездонная память — земля...

2003

* * *

Интернет заменяет книгу, как интернат — родителей...
Оказалось, шелест страниц был ее содержанием.
Что там лепечут листья?
Ваятелей и воителей
мир вспоминает позже, занят подорожанием.
Вот ведь какое выпало: дальние трогать страны...
Мало того, — эпоху, прежде невероятную.
Впрочем, как все эпохи...
Осенние ветераны
роняют медали наземь. И клятву, уже невнятную...
Кто победил? Не знаю. Наверно, размах строительства.
(Поле, о, поле, кто тебя усеял сплось лагерями...)
Если в отставку выйдут все на свете правительства,
Бог и сам разберется... (Я ему доверяю.)
Буквы дышат под пальцами, как позвонки под кожей.
Помнит ли клавиатура о родстве с фортепьяно?
Впрочем, все формы жизни друг на друга похожи,
как и ее герои: Чапаев — на д'Артаньяна...
Скушно мне, брат Пелевин, чаянья насекомые
не увлекают. Живопись? Черен квадрат монитора.
Дети учатся падать, упрямые, босикомые...
Не в этом ли смысл страдания: саднящий восторг повтора?
Шуршат биржевые верлибры. Поэт начинает ерничать.
Торговые люди крутятся у Библии и Корана.
И вдруг вослед Вавилонской — заносчивые нью-йоркские...
О, мир, отшатнись от зеркала — в нем жертвенный взгляд
барана.

А как ведь все начиналось... Как это стихотворение:
с технического прогресса и щепотки иронии...
Верни нам слухство и зрячество, Господь, и крупинку
Времени...
Все прочее — только к распрям... Имели — да проворонили.

2004

* * *

Из города Киева,
из логова змиева...

Н. Гумилев

Уронил каштаны Киев,
потемнела свет-икона...
Был ты, Киев, город Змиев,
стал — двуглавого дракона...
Пересуды, перебранки.
Мысли: только бы без крови...
Хорошо еще, что танки
не в ходу, хоть наготове.
Ну а если, ну а если
«нэзалэжная» команда —
перережет русской песне
горло «рідна» пропаганда...
Как банально, как наивно
ждать селями с киселями...
Расступись, народ и гривна:
бьются доллары с рублями!
С двух сторон танцуют дети,
борщ кипит на всех экранах.
Дети! Счастья на планете
нет и в самых лучших странах:
у кого-то — иномарка,
кто-то шкрябнул костылями...
Разгорелись щеки ярко,
льются доллары с рублями!
С двух сторон бучуют банты.
Две толпы гудят, как улы.
И не знают демонстранты,
что их снова «підманули»...

28. II. 04

Памяти чешского студента Яна Палаха

Прага, я не могу на твоём не споткнуться пороге:
Здесь брусчатка, как реквием, скорбно звучит под ногой...
Чешский мальчик горел, а у нас проступали ожоги,
Будто Ян — это я, это я, а не кто-то другой...
Мы познали тогда: нет стыда безнадежней и горше,
Чем за Родину стыд... (Как ломило ночами висок...)
И мерещилась тень: по камням, как по клавишам, Дворжак —
Танкам наперерез, темной площади — наискосок...
На губах моих снег — голубая соленая влага...
И на русский язык откликается каждый второй!
То ль славянской душой нас простила воскресшая Прага,
То ли днесь поняла, как наивны палач и герой...
По каким бы камням кто б солдатским ботинком ни клацал,
Никуда не привез ни свободы, ни счастья танкист...
Dobří večer тебе, повидавший историю Вацлав!
Полыхает букет и приветливо машет таксист...

Прага 18.02.05

* * *

Семь лет — один ответ,
и снова — сон глубокий...
Я знаю, что кивнет
согласно каббалист...
И мимо пролетит
печальный, одинокий,
чтоб новым корнем стать,
скукожившийся лист...

Не следует роптать
на ветер переменный.
Стерпи — и новый день
подымет в зенит!
Мне чудится опять,
что в чашечке коленной
мой завтрашний разбег,
как ложечка, звенит...

Так после тесных сот —
простора мне, простора!
Дерзну поцеловать
и Обскую губу...
А жизнь — на то и жизнь,
чтоб самое простое
являло вещей смысл
и выплось в Судьбу...

2005

* * *

Я помню все: клеймо космополита
на том, чья кровь за родину пролита.

И знаю, что, намылившись в Кореи,
скосят глаза по-местному евреи...

Встречала всех: и трусов, и героев,
владельцев недр — и только геморроев.

И все они страдают и стареют,
и почему-то с возрастом евреют...

И вспоминают преданного Бога.
И талес — как на римлянине тога.

(Когда б мне прежде не была знакома
такая ж прыть по линии райкома...)

Еврейский рок: всегда переселенцы...
Первопроходцы — и приспособленцы.

И если где-то в чем-то волокита,
всегда найдут себе антисемита...

А что делить? — Мы все от Авраама.
И я б торговцев выгнала из Храма.

А если пуст останется при этом,
То пригодится птицам и поэтам...

2005

* * *

Боюсь людей передовых —
они всегда передовые,
ни разу на передовой
не побывав, — не фронтовые...
Не вшей кормить, не под огонь
ползти, не плыть, сломя течение...
Иное их предназначенье:
спасаться первым от погонь...

На повороте обойти,
объехать, ночью грызть гостинцы...
И снова первопроходимцы —
первее всех в конце пути...

Первопроходцев оттеснив,
пустив ли им в затылок пули...

Вас хитрецы опять надули,
а храбрецы — опять в тени?..

Пока народ, как стадо, слеп
и рабский пот воззренье застит,
пребудут хищники у власти,
делить, позевывая, хлеб...

Под знаменем КПСС
они не думали о Боге...
Да и теперь — не валят лес,
а правят Пурим в синагоге...

2005

Консервативные стихи

Говорят про обувь и пальто.
Вспоминают отдых на Канарах.
О Душе не думает никто.
Ночь убийств — на всех телеканалах.
Жизнь и впрямь не стоит и гроша:
разве это — жизнь, скажи на милость?
Прежде жизни не было, но снилась,
и во сне казалось: хороша...
А теперь мне снится дружбы свет,
где еще не сбились в стаю волки;
молоко в картонной треуголке
и дивана вытертый вельвет...
Был бесстрашен каждый новый стих,
так враждебен власти — мама ридна...
И смотреть на дело слов своих
мне теперь и горестно, и стыдно...

2005

* * *

Нет, Моисей, они не твой народ...
Виктор Шнейдер

Не то чтоб думаю, но вдруг
озлятся быть всю жизнь в ответе...
Долги отцов платили дети,
но деда в каске вспомнит внук...
Ужель сгустится новый круг
тьмы в ницшеанском жестком свете?

От страха потного слепа
и не найдя средь Альп Синая,
обратно ринется толпа,
друг друга в панике сминая.
Страну приюта проклиная
и ставя факты «напопа»...

И я поежусь: холода...
Мне с этой стаей не летится...
Я не спешила никогда
открещиваться ли, креститься.
Такая вот попалась птица,
товарищи и господа...

Жизнь обозначит новый крен:
подполья, прокламаций, явок...
А те — опять восславят плен
и пооткроют ситных лавок.
И что им Бог... И что им тлен...
Перелицовка — прочный навык.

И это — избранный народ? —
Провидцы, книжники, элита?
Элита, знаете ль, убита,
как все, кто жил наоборот.
И мне сейчас вколотят в рот —
как кляп — клеймо антисемита...

Вновь перепишут имена —
Зачем же, мол, гневить Расею...
Египетские письма
роднее были Моисею,
чем собственные семена...

Клонировал их Сатана.
А Бог, не ведая, рассеял...

2003

* * *

Когда болит стихотворенье,
горит и мечется в груди,
ты окати лицо сиренью,
запястья в небе остуди.
И не коснется вены — бритва,
и взгляд к Всевышнему воздет...
Бессильна общая молитва.
Твори свою — и грянет свет!

2005

* * *

В нелюбимом городе жить,
ненадежные руки жать.
А во сне — над страной кружить,
из которой мечтал сбежать...

По делам беглецу — уют,
поделом ему грусти яд...
Тут скучают, а Там — поют,
И всю купола сият!

Православного слова мед
все течет по моим устам.
Всяк услышит, а кто поймет?
Первый встречный: не тут, а Там...

Кто в свободу купил билет,
знает, как цена высока...
Вон и рифма, как пистолет,
взмыла, вспыхнула у виска...

2004

Это стихотворение мне хочется предварить маленькой исторической справкой.

В тот же октябрьский день, что и в Петербурге в 1917-м, в 1918-м в Штутгарте произошел революционный переворот. Разъяренная толпа ворвалась во дворец короля Вильгельма (Второго). Он был честным солдатом и в подвале у него нашли только один мешок зерна. Общение с плебсом так подействовало на короля, что на следующий день он уехал с женой в свой далекий и холодный загородный замок, в Бебенхаузен, и завещал похоронить его, когда придет срок, не в Штутгарте, а в Людвигсбурге. Более того, было оговорено, что похоронная процессия должна непременно обогнуть Штутгарт, хоть и потеряет на этом несколько часов. Но король не хотел даже трупом побывать еще раз в этом городе... (Через три года верная супруга выполнила завещание, а сама она, кстати, дожила в Бебенхаузене до 1974 года). К стихотворению эта история отношения не имеет, но...

* * *

Не в Штутгарте на кладбище еврейском,
но где угодно, хоть бы и под Ейском...
(Подумаешь, ни разу не была —
так значит, буду!) Но не лягу с теми,
с кем не садилась...
Подлое их племя
толпится у халявного стола...

Что надо мной: ромашка или камень —
не ощутить подземными руками...
Я буду слушать птиц и тишину.
Они ж пускай ползут друг к другу в гости
(покуда их обнявшиеся кости
друг с другом не затеяли войну)...

Не в Штутгарте на кладбище еврейском!
Пусть на Карибском или на корейском —
любые любви мне колокола.
Но — не скандалы, распри, пересуды
и яства из отравленной посуды...

Смахни, Господь, как крошку — со стола
Меня, жестоковыйную...

2005

* * *

Легкий — с изнанки жары — холодок.
Утренний август. Прощание с летом.
Хруст сухожилий. Сутулый ходок.
Сколько на Ваших? — Помедлит с ответом...
Кажется видимым шорох минут,
слышно, как яблоки зреют тугие...
Чуть зазеваешься — годы мелькнут...
Глянешь, очнувшись — а рядом другие
Люди и нравы, деревья, дома...
(В рай или ад эмиграции чудо?)
Съезжишься в майке. А это — зима.
Надо же, в августе... Боже, откуда...

2002

* * *

А на поле-то — господи боже ты мой —
васильки, и ромашки, и маки!
Что ни вечер: из дому иду к ним — домой,
отрывая перо от бумаги.
Еле движется речка, и птицы журчат,
и стоят облака золотые.
И к ногам неизбежно падет алыча —
лунный плод, как тебя по-латыни?
Мы забыли названия пичужек и трав,
соловья не узнаем по свисту.
Был ты, верно, Господь, изначально не прав,
подарив этот мир атеисту...

2005

* * *

Глупости говорим, банальности:
вот вчера еще сидел здесь, трудно поверить...
Перед смертью бессильны — жители ирреальности.
И, смешно сказать, на ночь мы запираем двери...
Все равно войдет, когда ей заблагорассудится,
и задует свечу иль на месяц-другой рассядется...
Захлебнется поэма. И чья-то любовь не сбудется.
И нахлынет родня: приютит, кто сервиз — кто платице...
Череда обрядов — вот и все пребывание
в этом, пусть из миров не лучшем, но все же, все же
здесь мы сами дали цветам и зверям названия...
И тебя сотворили, Боже.

2005

* * *

Повернусь на левый — к чему просыпаться рано?
Все равно подымается уровень океана...
И пускай не конец, но хотя бы затмение света
обещал Нострадамус всем нам на это лето.
Нестерпимо много скопилось на свете мрака.
И под камнем сердца — всегда закуток для рака...
Видно, пробил час, повздыхав, подводить итоги.
Не была на Марсе. Не гладила римской тоги.
Но еще застала шершавую ласку леса,
где, людей бежав, из себя изгоняла беса.
Мне давно уж ясно, что всякая сласть — от Бога:
одному — пирог, а другому — на дно пирога...
Тем достались Альпы, а этим — весло и Висла.
Кроме счастья, жизнь не имеет иного смысла.
Никакой полиглот не освоит летучий птичий.
Разглядеть бы Лик в блеклых масках земных обличий...
А потом — синева до слез, благодать, нирвана.
Пена — ртом или бешенство океана?
Растолкай меня, дай мне кофе глоток бодрящий.
Притворюсь, что я все еще человек борящийся.
А глаза украдкой летят облакам вдогонку,
зацепляясь то за тетрадку, то за иконку...

2000

**жизнь без запятых
и с маленькой буквы**

помню как в унылом ленинграде
на убогой лавочке у дома
что ни день сидели две старушки
ботиками детскими качая

и однажды мне вдруг стало страшно
я себя увидела как третью
в стершейся каракулевой шкурке
ботиками тихими качая

я живу в другой стране и в доме
тоже вызывающе высоком
потому что селится охотно
низкий люд в бетонные хоромы

вечером турецкие старухи
темными окутаны платками
каркают о чем-то так недобро
что опять становится мне страшно

неужели эта остановка
вот уже последняя отсюда
в шлепанцах на левой ножке правый
вынесут — здесь слишком теплый климат —

сквозь кошмары диких детских криков...

нет уж лучше поменяю адрес
отряхнусь начну зубрить английский —
и старух нью-йоркских не замечу...

2005

* * *

*Лене Дунаевской,
кухне Полины Беспрозванной
и подвальной кошке Тине,
нашедшей приют*

На кухне, в полночь, о Цветаевой —
Какое счастье, мы в России...
Друг друга потчевать цитатами
И задыхаться от бессилья,
Рискуя доказать, что гении
Не подчиняются порядку...
...Здесь все еще местоимения
Ночами делают зарядку.
Мне хорошо. Я снова думаю
О сути, а не о сутяге.
Храни, Господь, каморку дымную,
Не позабывшую бродяги,
Что в жизнь пустившись карнавальную,
Мечтал, напрыгавшись по миру,
Ласкать чумазую, подвальную,
Свою взъерошенную лиру...

2001

Памяти Лидии Алексеевны

Молилась мама за меня.
Пусть не моя, но не чужая...
Бесслезны мы на склоне дня,
последних близких провожая.
Дрожит в руке бокал с вином,
пронзает мысль пунктирным током:
как мало в городе родном
для нас осталось теплых окон...
Где, будь ты нищ иль знаменит,
прижмут к груди, замолвят Богу...
И чайной ложечкой звенит
благословение в дорогу.
Как мы рвались из той тюрьмы,
ломая ребра о решетки...
«Мы — не рабы! Рабы — не мы!» —
мы повторяли в околотке.
Мой друг! Господь не приведи
ловить последний всхлип курантов,
схватившись за сердце, среди
никчемных вздорных эмигрантов.
Но, коль иного не дано,
перешепчу под прессом рока:
«Мне совершенно все равно,
Где, совершенно одиноко...»

01.07. 2002

Эти взгляды в чужие кошелки, и зависть, и спесь,
по которым советских везде узнаешь эмигрантов...
Весь нехитрый багаж их, похоже, покоится здесь:
в настороженном виде и странных повадках мутантов...
Это надо же как размело-раскидало народ:
одичавшая армия ленинцев бродит по миру
и дивится, что здесь все не так уж и наоборот —
соблазнитель пир, но чужим не положено к пиру.
Вот и мнится Россия непаханым полем вдали,
зарастает крапивой и всяческим чертополохом.
Господа диссиденты, мы сделали все, что могли:
отдыхает земля и готовится к новым эпохам...
И придут инженеры точнее немецких часов,
и поправят кресты элегантно-французские внуки.
Зубы ломит колодезной. Сорван железный засов.
А теперь — помолясь — за ремесла, стихи и науки!..

2002



СТИХИ НА ПЕСКЕ

(ИЗРАИЛЬСКИЙ ДНЕВНИК)

Всем друзьям посвящается

* * *

И горы облаков, и кактусов отары,
Двугорбый божий бомж над папертью песка...
Здесь так чисты цвета... И мы еще не стары.
И птица на лету касается виска.
О, родина всего! О, пафос Палестины!
О, живопись пустынь — причудливей Дали!
Льдовеющая соль. Блаженные крестины
в Отеческих руках... Купель. И корабли
исчезли. Стерт прогресс. Ни дыма. Ни детали
зловещих наших дней. Вернулся в окоем
первоначальный смысл.
И след Его сандалий
впечатан в твердь воды и солнцем напоен...

* * *

Сколько в компьютере божьем оттенков зеленого —
я никогда еще в жизни не видела столько!
Здесь, в Галилее, спасенье от времени оного,
словоубежище... И кисло-сладкая долька
(не леденец химиядный — плоды трудовитые...),
Солнце гончарное, скрипнув, за кадр опускается.
Овны библейские, к жертве любовно завитые,
так безмятежны, что фотозатвор спотыкается...
Патриархальное, ветхозаветное, горнее
ширится небо — чем выше тропинка топорщится.
Совестно в рифму, — изыди, как бизнес — игорная...
Дай надыхаться псалмами...
(Примолкла, притворщица.)

* * *

Мой друг опять невыездной —
Как много лет тому...
И не заполнить обходной
В пылающем доме.

«Наш дом — Израиль», — говорит.
Бездомный бледный грач...
Щебечет весело иврит
И прячет вечный плач.

Он не банкир, не спекулянт,
Мой старый добрый друг,
Лишь любопытный эмигрант
В пески — из белых выюг.

И вот сидит он, весь в долгах,
В компьютере сидит...
Мешает думать о богах
Профуканный кредит.

Мой друг ни в чем не виноват,
Он — из породы птиц...
И если завтра новый ад —
Он первый в Аушвиц.

Он входит в кнессет, глух к речам,
Неловкий, как верблюд.
И люб Шагал его очам,
И скушен прочий люд.

Он отвечает невнопад,
Но встать «в ружье» готов.
Мой друг — печальный депутат
От партии цветов...

* * *

То ли ломится бешеный яркий ландшафт,
то и дело меняясь, в стекло ветровое?
То ли фрески Шагала до звона в ушах
разрослись и смыкаются над головою?
Все возможно под куполом этих небес,
где в прищуре солдата — печаль Авраама,
где пилястрами стройными лепится лес
и однажды в столетье скворчит телеграмма.
Как лиловы оливки, и как апельсин
нестерпимо оранжев, на зависть Манджурий...
Над слепящим песком — паруса парусин
и араб в неизменном своем абажуре...
Все мы родом из этих горчичных земель,
что являют прообраз и ада, и рая,
где, как в детстве бронхитном, палитровый хмель
и восторг сотворенья... И вот он, Израиль!
Я намокшую прядь поправляю крылом
и не ведаю, сколько веков отмахала...
И венчает картину, мелькнув за стеклом,
смуглый ангел пустыни, патрульный ЦАХАЛа...

* * *

На зубах скрипел песок,
шла осада.
Не висок, а дух высок
твой, Масада.
Пусть им имя легион,
хватит — Рима.
Желт песок. И желт огонь.
Все — горимо.
Жажду взглядом утолив
в Божье небо,
знали — больше ни олив
и ни хлеба.
Ни надежды на побег,
ни подмоги.
Первый подвиг. Первый век
синагоги.
Обнимите жен, мужи, —
время тризне!
Пусть им наши куражи,
а не жизни!
Лучше гибель, чем клеймо,
что — отрешье...
...Поналипло к нам дерьмо
раболепья.
Не грозит нам дефицит
прохиндеев...
Но — великий суицид
иудеев!
Занесло песком года —
да не стерто...
Даль как желтая звезда

распростерта.
Не для МИДа, не для вида
фасада:
золотая пирамида.
Масада.
Приходите погордиться,
старая,
не забывшие традиций
евреи...

* * *

Дождик. Муторно. Жди гостинца
от безумного палестинца...
Неужели же все заране:
брань соседей и поле брани?..
Бог — он каждому понемногу:
флягу влаги и хлеб в дорогу.
Иудею и христианину.
(Износилось белье в рванину.)
И араба арба палима
белым солнцем Ерусалима.
Что же ты натворил нам, Боже!
Что ни век — то одно и то же:
взрывы крови, руины мести...
Люди жить не умеют вместе.
...Я вернусь в свои палестины,
ребятне раздам апельсины.
А родня мне — борща половник:
мол, хлебай, отошлал, паломник...
Шагом-шепотом выйду в город,
приподняв — от прохожих — ворот.
Тихо-тихо. После террора
отдыхает крейсер «Аврора».
А в парадных того построя
пьет народ, разойдясь по трое,
пьет и плачет: «Помилуй, Боже...
(и жиловскую морду — тоже)»...
Потому-то и ждать Мессию
не куда-нибудь, а в Россию —
где бродяга в лохмотьях ищет
Книгу Бога на пепелище.
Скрипка ль плачет? Скрипит телега?
Острый свет над пустыней снега....

* * *

...Земную жизнь пройдя до половины,
верней, почти до самого конца,
я знаю: в птичьих шапочках равнины
не заслонили Божьего лица.
Тому, кто нам наказывал: не целься,
не обмани, будь страждущему — брат,
милей и ближе ряженных процессий
поэт, стихи слагающий в шабат...
Космополит, что пьет арабский кофе,
смакуя горечь, сжав до синевы
осколок моря... Этот на Голгофе
Не отшатнет от плахи — головы...
Да, не любил катания на танках,
чурался пейс, — зато наверняка
арабских цифр в швейцарских мутных банках
не прикрывала алчная рука...
И если все мы, Господи, повинны, —
покинь тобой придуманный народ...
Земную жизнь пройдя до половины,
я слышу скрежет Дантовых ворот...

* * *

Лена, Володя, Наташа и Миша.
Над головой — сионистская крыша.
А на столе — православная водка.
(Задраны вверх и кадык, и борода.)
Из пенопласта двойник Арафата,
он исподлюбя следит воровато...
Что тебе, чучело? Будешь из банки?
Мы никуда не въезжали на танке.
Мы согревали полжизни в котельной
и могоновид, и крестик нательный.
Новый Завет вслед за Ветхим Заветом
полнили душу терпения светом...
Спали с лодыжек галерные гири.
Не потеряться бы в яростном мире!
Юра, и Вася, и Боря, и Лена —
все мы Петра и арапа колена...
И отовсюду спешат катастрофы
в наши до слез петербургские строфы.
В мире безумном воинственном этом
нет закутка бесприютным поэтам.
Всюду бездомна ты, братия наша —
Витя, Сережа, Олежка и Саша.
Хоть и пришли заповедные сроки
и из юродивых вышли в пророки...
Песах ли, Остерн — рванем без закуски...
Это по-божески. Это — по-русски.

* * *

Храни друзей моих, Господь,
и в Петербурге, и в Нью-Йорке,
и во дворце, и во каморке,
крепи их дух, щади их плоть.
Нам не дано предугадать,
где нам даровано свиданье,
на Рейне или Иордане
окатит светом благодать.
Я скрытной верою живу,
что вдруг расступится кромешность,
как тайна жизни, как промежность
и — в жгучий обморок, в Неву!
Не оттолкнет счастливых слез,
сомкнет утешные объятья...

И встретят в белом сестры, братья...
И впереди — Иисус Христос.

Да, мы и грешны, и слабы,
а все ж друзей не предавали.
Достойны райских куц едва ли,
но — взблеска ангельской трубы.

Хотя б за то, что бедовали
и были всюду, где бывали,
лишь бедуинами судьбы...

18-25 февраля 2001

Штурм

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ СТИХОВ
«ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ СЧЕТ»
(СТИХИ 70-Х)

ЛЕНИНГРАД, «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ», 1987

...Главное, на мой взгляд, — отношение поэта к слову. Слово — не средство выражения мысли. Оно само в себе — мысль, пласт истории, этики и эстетики. Завораживает и морфологическим спектром, и фонетической суггестией. Слово легче воздуха и тяжелее камня. Единица измерения поэзии для меня — светимость слова в контексте...

И еще — предельная правда психологического наплыва. Но это уже требование только к себе, при выполнении своей, как говорят психологи, вербальной задачи. У других поэтов — другие предельные правды...

В сборник включены стихотворения 1972—1982 годов.

Независимо от сложностей современного книгопечатания, я всегда считала, что публиковать одну книгу надо, написав десять. Впрочем, принцип «выдержанного вина» устраивал и тех, от кого зависело, быть ли слову молодого поэта в печати, хотя бы в периодической. Сегодня хочется возразить им и себе: стихи не портятся, но поэты скисают...

Что же касается анкетных данных, — они в отделе кадров. И довольно скучные. Увы, не разделяю романтики перемены мест и вообще туристических методов познания жизни. Эмпирика порождает риторику, а подлинная биография лирика — единственное открытие вечных как мир понятий...

Ольга Бешенковская
1987

* * *

Деревья никуда не улетают.
Летят, не отрываясь от земли...
Растут себе — и небо обретают,
Где птицы
копошатся
на мели.
Растут себе, не чувствуя предела, —
Как дети заплывают в синеву...
...Естественность единственного дела,
Глагол, обозначающий: живу!
И кажется, что подняты для тоста
Созвучные соцветия деревьев:
Не ведая о заданности роста,
Топорщиться, себя преодолев.

Родословная

Ничего и не надо особого, нового...
Лист смородины — младший братишка кленового.
А ладонь человечья — наверно, племянница.
Разрастайся, родня!
Хоть кому-то вспомнится...
В золотых завитках, по-дворянски затейливо,
В ленинградском дворе — родословное дерево...
И потрогать могу, и листаю взволнованно,
И под кроной стою, сентябрем коронована!
День, последним не ставший, — как праздник рождения!
И не ляжку тяну, а рас-тя-ги-ваю наслаждения:
Обстоятельный чай с пирогами домашними,
Затяжной, как прыжок, поцелуй под ромашками,
Все вобравший в себя:
страх, восторг, ожидание,
И случайные блики на смутное, давнее,
И до слез — хоть проси у кого-то прощения...
И другие, прильнувшие к ним, ощущения.
Я на свете живу по любви и посуточно,
Осторожно вздыхая, что время рассудочно,
И над быстрой водой под столетними соснами
Забываюсь все чаще и как-то осознанней...

* * *

Мандарины зимой удивительно пахнут
С первой елки твоей — до последней отдышки...
Вот лежишь, и зрачок ожиданием распахнут,
И щека согревает ладошки-ледышки,
Потому что на вкрадчивых елочных лапах,
Расщепляясь, и в каждую щелочку юркнув,
И висит, и течет, и баюкает запах,
Беззащитный, щекожный, щемящий, уютный...
Словно горькие губы лишь в лоб целовали,
Извиняясь как будто за каменный привкус,
Если сказочным замком сквозит в целлофане
Мандаринного детства оранжевый призрак...
Словно где-то вдали моросит мандолина,
К пробуждению тоньше, протяжней и глуше...
Ты послушай, как пахнут зимой мандарины,
Как зима
мандаринами пахнет, — послушай:
Вся, от ропотной, робкой улыбки снежинки,
Мимолетом угаданной (было — и нету),
До остриженных веток, скребущих с нажимом
В аккуратной тетради начального неба...
Излучают витрины зарю мандаринов,
И смягчаются щек зачерствелых
горбушки, —
Словно всю эту зиму тебе подарили,
В новогоднюю ночь положив под подушку.
И мерцает она в серебристой обертке,
И нельзя на нее надышаться-наглядеться,
Потому что зима, что сегодня обрел ты,
Протянула —
метели —
от самого —
детства...

* * *

Слипаются фразы: совсем разучилась читать.
Рассеянный взгляд выдает, что душа не на месте.
Все что-то мешает: на лбу непослушная прядь,
Дурные предчувствия, цоканье капель по жести...
Так в комнате нашей, где каждая вещь — наизусть,
Внезапно томит ощущение какой-то пропажи,
И мучит, хотя беспредметна до времени грусть,
И свет не включен, и ключи не повернуты даже,
И внешне — порядок, и нечего, в общем, терять...
И с книгой любимой такое же вдруг происходит,
Пока не поймешь: не хватает безмолвного «ять»,
Как запаха речи в буквальном — на суть — переводе...
Сама спотыкалась на жатве хрустящих страниц —
Корнями смягченными суетный век избалован,
Зато приходилось вглядеться, осмыслить, сравнить
И дух перевести перед каждым затверженным словом.
Загадочный сфинкс, человечек по имени Ять,
Морока наборщиков, роскошь писателей русских...
Да полно вздыхать: не заблещет грамматика вспять,
И надо ли это... И дело не в правилах узких.
И нам почитать — и выстраивать свой алфавит,
Где с ходом событий рифмуется бег авторучки...
И вдруг заскучать, оттого, что и он деловит,
По черт его знает, бог знает какой закорючке...

* * *

Мой полубелый-получерный
Смешной, как в плаче Арлекин,
С утра в квартире заключенный,
Смышленный, хоть и не ученый,
На жизнь собачью обреченный,
Приляг, ушами пораскинь:
Допустим, мы тебя отпустим —
Но ты не дог и не бульдог,
Бог знает кто...
А мир жесток,
Особо — к найденным в капусте.
...Затих. Прижался — как продрог.
С шолом-алейхемовской грустью
Косясь на строгий поводок...

* * *

До обидного прост и недолог
Путь к старинному сейфу души:
Бородатый, как черт, социолог
Пододвинет анкету — пиши...
Бесполезно уже притворяться,
Разглядит он, как ты ни таи,
Сквозь замочную щель перфораций
Все наивные тайны твои.
И держись, развеселая личность, —
Лучше даже, чем другу, видны
И усталость твоя, и скептичность,
И тенденция к чувству вины...
Только хрустнет задетая ветка,
Расцветет ли строка ни о чем —
Мefистофель двадцатого века,
Усмехаясь, стоит за плечом...

* * *

Весь город меняет квартиры.
Сквозь шепот и в гомоне свар
Балконы, кладовки, сортиры —
Взаимолобезный товар.
Соседями, видом из окон,
Расчетливо или в бреду,
Как будто и прошлым, и роком
Махнуться имея в виду,
Район ли, этаж выбирая —
Меняйтесь захлеб и подряд!
Извечные поиски рая,
Сегодняшний скромный обряд...
Шурши, листопад объявлений,
Буди, телефонный каскад!
Обмены — лекарство от лени:
Меняться, метаться, искать!
Бесмысленны и непремённы
До стога, до вспоротых вен
Обмеры — обманы — обмены,
Соблазны любых перемен...

* * *

В гранатовом зерне —
Волшебная вещичка,
Как в розовом огне,
Порхала танцовщица ...
И лоб горел огнем,
И с ней кружились банты,
Снежинки за окном
Мелькали, как пуанты,
В метели молока
Шипела, пела сода...
Как облако, легка
Ангинная свобода!
От вырезанных гланд
Видение исчезнет.
Проходит наш талант,
Как детские болезни...

Родителям

Постойте еще, покажитесь еще на балконе...
(На белой стене — огороженный астрами выступ...)
Споткнувшись у торца, и опять оглянусь, и спокойней
вздохну, и пойду вдоль заржавленных, вечно ветвистых
кустов без названия... Зажмурившись, прыгну в автобус
и с хрустом откинусь на коже, другими согретой;
под веками пряча (так резко не встряхивай, тормоз!)
двоих на балконе — щемящую карточку эту,
отснятую взглядом, слезами — наводка на резкость,
все меньше фигурки... Оставайтесь навек на балконе!
Я скоро приеду! А следом — прощальные всплески,
как будто прощая, как будто слабея в погоне...
Мне нужно на службу и к прочим высоким заботам.
Но утренний шаг у торца зависает, как блюдце,
как будто исчезнешь — постойте же! — за поворотом —
и с белой стеной, удлиняющей тени, сольются...

* * *

Словно важное что-то в толчее потеряла,
И не вспомнить — не то что найти... Беготня...
Из горяще-свистящего материала
На флажштоке — заря пионерского дня.
Не хочу умиляться, не могу ухмыляться,
Перепутать оттенки смятенья боюсь...
Просто больно глазам от зазорного глянца
Нетускнеющих горнов и новеньких блуз.
И готовы к борьбе, и суровы к промашкам,
И от песен восторженных щеки горят, —
Вот шагают они, не сгибаясь к ромашкам,
За отрядом отряд, за отрядом отряд...
Барабанная дробь и зазнайство припева
(Но они-то не слышат, пыхтя и сопя).
То направо ведет, то уводит налево
И равняться вожатый велит на себя...
Отчего же в груди подымаются флаги?
Просто музыка детства — задетой струны...
С бодрым утром тебя, нестареющий лагерь —
Пионерская форма великой страны...
Вот смотрю — и глаза прикрываю рукою —
Как стоит на трибуне... сидит у костра...
Наше завтра, еще неизвестно — какое,
И опасно счастливое наше вчера...

Снегопад

Как рано стали улицы пустеть...
Когда еще светлым-светло от снега...
Когда еще не ловят звезды с неба
Ни молодой, успевший полысеть
Поэт, ни увядающий любовник,
Который чуть моложе, чем поэт...
Еще автобус, алый, как шиповник,
Шипит в снегу, а на зеленый свет
Лишь снег идет... А люди не идут.
(Не мамонты — чтоб вовсе не осталось...)
И я не знаю, лень или усталость
Толкают в кресла, на диван кладут
Тех, что с работы ринулись галопом
(О табуны! О здания, держись!...)...
Теперь они сидят с телециклопом
И в шахматы проигрывают жизнь.
А снег идет... И пусть себе идет,
Поскольку он не первый — не последний,
Ромашек предок, тополя наследник,
А может быть — как раз наоборот, —
Не это важно... Ну а что же важно?
Что рано наши улицы пусты...
На них переминаются отважно
Огни и милицейские посты,
А снег идет по улице пустой...
Навязчивей, чем просто наважденья,
Плечом к плечу сомкнулись учреждения
И каменно молчат... И ты постой,
Наивный снег, отвыкший от народа,
Светящийся, как памяти пунктир...
Нормальное явление природы,

Постой у врат в нормированный мир.
Там воздух неестественен и сер,
Вещам и людям выдаются бирки,
И в комнатах, прозрачных, как пробирки,
Так призрачно мерцают ИТР,
Что, кажется, слоняюсь по музею,
Когда, склонясь над письменным столом,
Я прохожу сквозь стены и глазаю
На голубых простейших под стеклом.
Они идут... Куда они идут?
Вернее, выются, тужатся и тщатся,
А снег идет. Но хватит возмущаться
Их жизнью одноклеточной. И тут
Идут часы, события бывают:
Разводы, свадьбы, — маленький, но факт...
Дают «прогресс»... Начальник вызывает...
(Не на дуэль. Дай бог, не на инфаркт.)
А снег идет... Березы клавесин
Звонит в саду, который всюду рядом...
Но эти люди расщепляют атом,
А ты, признаться, только апельсин...
А ты сама, как скрепки, нишешь строфы,
Надеясь, неосознанно почти,
И на пути к любви своей Голгофу
И на пути к Парнасу обойти...
И, повздыхав, что в мире мало света,
В слепой подушке ищешь тишины...
...Не остряки, но острые поэты
И чистый снег отечеству нужны!
А снег идет. Идет совсем один.
Кому повем печаль твою, о Снеже!..
И для кого так светел ты? И с кем же
Склониться над мозаикою льдин?

А снег идет, и улицы пустеют...

121

И тахта, повидавшая виды, вздыхавшая в такт,
Если пальцы без фальши играли на клавишах тела.
И часы, в тишине протекавшие так,
Что невольно считала их звонкие капли, хотя — не хотела.
Истекали часы... Но держалась блестящая марка —
Золотой полумесяц на морозном окне, обращенном к Отчизне...
Вечера наших дней — как хрустящие письма из марта
О нелегкой любви к этой горькой и праздничной жизни.

* * *

Не плачь. А плащ пускай сверкает —
Блестящекрылый дождевик,
Пришелец... Медленно стекают
Густые кляксы ежевик.
Возьмешь губами — странно, сладко.
И веришь привкусу, как сну:
Таит волнующая складка
Космическую глубину.
И как намек на жизнь чужую,
К которой тянется трава,
Звезды прохладные чешуйки
Дрожат на сгибе рукава.
Смотри, как празднично намок он
Соленой мгле благодаря:
Чернеет парус одиноко
В бенгальских брызгах фонаря!
Пойдем... Покуда чай да дело
И наваждение не стекло,
Он сохраняет форму тела
И даже, может быть, тепло.
Пускай себе в прихожей реет,
Встревожив запахом щенка,
Пригревшись возле батареи
У стенки влажной, как щека...
Не так уж вечер наш крошечен,
Пока — далекий и живой —
Весь этот мир уравновешен
Блестящей каплей дождевой...

* * *

На отъезд Д. Я. Дара

Прощаться легче в аэропорту...
Стекла и ветра проблески и всплески.
Он весь — сквозняк, простор без занавески;
И холодок у сердца и во рту.
Аэропорт — бездомное окно!
Конфетный вкус высокого сиротства...
И то, что небом с небыли зовется, —
Одно на всех, со всеми заодно...
Как будто некий космополитизм
Уже в самой конструкции заложен...
И лайнеры — как вымытые ложки:
Черпни погуще — в космос полети...
Как хорошо, что можно улетать
И провожать, как будто улетаешь, —
Кто различит, зачем в тумане таешь,
И мука это или благодать...
Так на одно размытое лицо
Аэропорт прилета и отлета,
И ничего не значащая нота —
На праздник или траур письмецо...
— Пишите мне...
— И вы пишите мне...
(Все рядом, как на радиоволне.)
Со всех сторон — дыханье миража,
Подкова звезд — верблюжья ли, оленья?
Столбцы иного летоисчисления
И легкость рук, лишенных багажа.
Аэропорт прозрачен, как намек
На ту другую, скорую разлуку,

Где в пустоту протягиваешь руку —
И слабнут пальцы, сжатые в комок...
Где наша жизнь сжимается в петит
И даже то, чего не досказала.
Но горький дым отечества с вокзала
Чужого к нам уже не долетит...

Прощаться легче в аэропорту.

(ЭСКИЗЫ)

Продолговатые тусклые лики яиц —
Незавершенный эскиз Модильяни?
Где-то на заднем, невидимом плане
Кисть окунается ложечкой
в кофе на молоке...

...И остывает в руке
завтрак
из будущих
лиц.

Домов бетонные бруски
И звезд стеклянные крупницы...
Шагнуть,
 поезжиться (не спится) ...
И скорчит приступом тоски
Вселенской —
 Смысл жилья иной

Пронзит
(житейского помимо):
О, утренняя пантомима,
Ау!
А звука нет.
Лишь привкус неземной...

Конструктивный пейзаж.
Угловатая грусть.

Прорастают сквозь поры —
обратная связь —

Силуэты одежды.

На какой-то саднящей черте,
Где материи сшиты аортой,
Даже чувства — и те
Натуральны, как фрукты для натюрморта

Под рентгеном Леже
Или в первом — в канун сотворения — чертеже:
Скажем,

груша
гитары
тоски
Или
ракушка
мысли
о прошлом...

...День заранее прожит.
Заведомо рамки узки.

Но пока не втянула толпа,
Как в туннель, как со всеми бывало,
Трескается скорлупа
Параллелепипедов и овалов;
Они размножаются треугольниками...

Словно всхлипнула по кривой
В скрипке трещинка Пикассо
И треугольное сердце в горле как
Эйфелев колосок.

Шаги...

Заворочались куклы в коробках...
 (Щекотная сказка о жизни короткой,
 Когда-нибудь снова приснишь...)
 Блестящие фантики утренних окон,
 Дымок из плафонов с недопитым током,
 Сухие хвоинки ресниц.
 Хотелось свечу и щемящую ноту.
 Догнав обогнавших, согреешься в ногу
 (о, медиум скрытой трубы)...
 У времени свой ритуал одиночеств:
 Закутаны в коконы — роем из ночи,
 Сложившие крылья судьбы...

Заснеженный трамвай
 На ветке — снегирем.
 Когда-нибудь давай
 Нечаянно умрем.

На остановке Грусть
 Так сладко умирать...
 Качнется на ветру
 Табличка в номерах.

Сапог и рукавиц
 Морозный перепляс,
 Не видя наших лиц,
 Закапывает нас.

Осесть

под снегом
 в снег,
 Мелькнет
 в зрачках
 трамвай...

— Заждался человек...
 — Бывает...
 Зарывай...

1979

* * *

Тихо засыхает запятая
...Бог и утешение с тобой,
Осень баснословно-золотая,
Воздух детскосельски голубой...
Лучшего не вспомнить — и не надо:
Лишь бы, не скрывая существа,
Дивная эстетика распада
Нас благословляла на слова...

* * *

Религия? — О прошлом не жалею.
Искусство? — Хорошо бы, но откуда?
Нас отлучил от смерти Галилей
И жизнь сама — от собственного чуда...
Поежиться, закутаться в кашне,
Прервав животрепещущий и скушный...
...Бывали времена и пострашней,
Но не было пространства — безвоздушной...

Призвание в любви

1

Постой, Галатея. Взгляни на запястье: уже
Твои золотые потеряны... Время не терпит
Таких опозданий. На темном своем этаже
Он в куклу другую вдыхает мучительный трепет.
Отходит — и смотрит. С улыбкой — как будто вослед,
Уже отстраняясь... Но рано: пока еще — камень...
Ее, как тебя, он прощает на тысячу лет,
Что будет валяться и бражничать с учениками;
Шлифовкой его — недостойные взгляды слепить...
Внимающий лепету, мастер не слышит оаций.
Но всех нас прекрасней и детская радость — лепить,
И грустная мудрость: любить — отходить — любоваться...
Он занят всегда. Не пустеет его пьедестал.
Сестер у тебя: кто на пенсии — кто в колыбели...
Нетрудно утешиться: болен, и стар, и устал,
Но это не он — это мы для него устарели...

2

Лучше сбоку — припеком... Признаюсь: боюсь визави ...
Что-то ежится в нас, будто вышли к заброшенной даче...
Гордо гривой тряхнет не прощающий зрячей любви,
И сама не прощу. И сама не умею иначе.
И сама отвернусь, завернусь в кутерму сентября,
И мои для других заколочены двери и ставни.
Этот грустный сезон, волоски на кустах серебра,
Называется: память о ситцевом смехе недавнем...
Не входите. Не надо. Все поет, скрипит и дрожит.
Только пыль встрепенется в нечаянном конусе света...

И осядет опять. Полумраком своим дорожит,
Запустением — дышит гнилая часовенка лета.
Нам же не прочихаться потом... Но сегодня — чихать!
Заходите скорее! Но стоит ли? Будет как дома:
Паутинку вертеть, пожелтевшую книгу читать
И вибрацией нервов тянуться к листку молодому...
Лучше так постоять... Побродить до пристойных восьми,
Не вглядевшись в лицо затемненного полуотцовства...
...Да чего вы боитесь! Да господи, черт вас возьми,
Ваша сила, маэстро, отнюдь не в эффектных концовках...
Наша близость и так — это духосмесительный грех.
И прерывистый пульс — телеграфным пунктиром по коже:
Так побочные дети, провинция, ветер прорех,
Объявляются вдруг и до бешенства — здрасьте — похожи!
До свиданья. До завтра. Не выдержу третьего дня!
И второго. И часа. Входите, я, кажется, рада.
Но прощайте. Прошу: отведите глаза от меня!
Не дуэт, а дуэль: два осенних рентгеновских взгляда...

3

Мир дому нашему. Не улетел.
Окаменела птица на фронтоне —
Энергия в споткнувшемся фотоне,
Воробышек, что звездами вспотел.
Приблизиться... Отпрянуть... Замереть...
Передышать торжественность момента
И холод именного инструмента
Настроить на открытие...
Любимый!
(Звучит — как здравствуй. Тайна языка,
Семантика ночных землетрясений...)
Скажи, зачем в постели облака

И плащ — в следах стилистики осенней?
 Зачем вопрос, в котором есть ответ,
 И оправданье, и тоска матроса
 На берегу, и ответ, и просвет,
 И свет угроз, и вовсе нет вопроса...
 Послушно заплетается язык,
 Когда владеешь им, а не собою,
 Вернее, он — тобою...
 Не изыск, а узелок, завязанный судьбою
 На память? Нет. В дорогу. Но при чем
 Дорога, если дорого дыханье
 И у плеча, и над, и за плечом?
 (Ищу предлога...)
 Все-таки духами
 Вовек не утолится алкашу
 (Какие неудобные словечки),
 Но, слава Богу, все-таки дышу
 Тобой, с тобой, в тебя...
 В стеклянной свечке
 Оранжевеет скобка.
 Наш огонь
 Оставим в скобках...
 Скроем абажуром.
 Война и мир. Кентавр. Лаокоон.
 И при чужих безумствах подежурим,
 И при своих наличных проживем...
 Да что же получается опять,
 Верней, не получается, любимый!
 Скажи, какой протест неистребимый
 Мне руки выворачивает вспать,
 И строки вслед — немыслимый подтекст...
 И почему так медленно и грустно
 Выходит на бумагу все, что устно —

Так празднично? (Как проводы невест:
 Свались с луны — склонись невпопад
 Не с поздравленьем — в соболезнованье
 К рукам остолбеневших на диване
 Родителей Офелии...) Обряд
 Наскучил? Счетчик Фрейда, упаси
 Дотронься лишь — и молнии вдоль тела!
 Античный тир... Да я б к тебе летела,
 Когда б не он, а ты — на небеси...
 Как примирить мне вас, вернее, как
 Поссорить, разлучить, чтоб различала,
 Свести концы с концами, нет, начала:
 Крыло и руку — дважды свет и мрак?
 Двойная щедрость скарденной судьбы,
 Где что любовь — страстишка пригодится...
 Комплект любви, гармония кондиций...
 Благодарить бы, а не на дыбы, —
 Как за конструктор — детство: чертежи,
 Космически блестящие детали...
 Надменное изящество в металле
 Люблю — полюбоваться.

Но скажи,
 Как трепет созерцанья совместить
 С вторжением отвертки? И в поэме,
 Живой, как жизнь, смонтировать по схеме
 Два образа мятущихся? Сместить
 Крыло и руку, чтобы расчленил
 В тот звездный час, когда мосты разводят...
 И две любви — две полных чаши бродят.
 И не свести в невидимую нить,
 Как не взойти созвездия Весов
 Моим охранным знаком Зодиака...
 ...Затих у ног лохматый забияка —

Счастливчик, не терзающий висок
Раздумьем о природе колбасы,
Поскольку через голову — как через
Начальство — ухо переходит в челюсть
Так совершенно, будто для красы.

Спи, сукин сын. Мой песик. Мой психей...
(Комфорт ковра и поза эмбриона.)
Да не стряется гром во время оно
Ни за окном, ни в кухне, ни в стихе.
Мир дому нашему. И миру — не содом.
И сон собачке — непоколебимый...
И Бог с пером...
Но я же не о том
Тебя спросить надеялась, любимый,
Верней, сказать хотела.

Рассвело...
Хоть вон из тела — мира не нарушу...
Скажи, зачем же тело лезет в душу?
Одной души касается крыло...
Вдвойне любимый: любящий, ответь
Губами, выпивающими губы
До пустоты, до солнечного куба...
Приблизиться...

Отпрянуть...
Замереть...
Передышать в сторонке, как в гостях,
Как на гвоздях...
Раскрыл твоих объятий —
И тени рук его...
О, скрест распятий!
О, мельница! — О, снег на лопастях!..

Деревенский эскиз

Переливалось молоко...
О, как, слепя, переливалось!
До кружки было далеко,
И в солнце все перемывалось,
Переливаясь; таял пар,
И все казалось: все моложе
Лукавый глиняный загар
На шее амфоры молочной
С жемчужной нитью молока,
Смеясь оброненной — ловите!
И кружку сжавшая рука
Казалась нищенской — для нити
...такой сияющей, что взгляд —
И порвалась — не оторвется...
Так поцелуй рассветный для
Зимой, пока не отзовется
В груди: так рифма, прозвенев,
Не обрывает связь с бумагой...
...И если истина —

в вине,
То перед этой первой влагой,
Как детство, звонкой и парной,
Затвердевавшей в белозубость,
Чтобы впитаться в перегной
Для новой, — скиснув и насупись,
Насытись жизнью... Как легка
На миг, и тот присочинила, —
Телячья радость молока
Переливается в чернилу...
Потом жемчужное зерно
Являло раковиной кружку —

Иных сокровищ не дано
Деревне, сморщенной в старушку
Словоохотливую — глушь,
Гостеприимную — почувствуйте...
...Переливалась эта чушь,
И что-то таяло на чувствах —
Усталость шедших далеко
Стекает с плеч, как вся усталость.
...Переливалось молоко,
И кот блаженствовал, уставясь
На каплю...

Ходики зрачков...

И в полусне казалось — тикал;
И одеяло из клочков
Каких-то мыслей грело тихо
И расплзалось... Невесом,
Вспорхнул на стенку кринку через...
...Перетекало тело в сон,
И молоко — в простынный шелест,
Пространность грусти — в простоту,
И все казалось: кто-то плачет,
И нью — будто бы расту,
Во сне уменьшившись в калачик...

...Что проку — фатум с молотка,
Как будто все того не стоит...
Переливанье молока,
Жизнь из порожнего в пустое.
Проснешься — жмутся по углам
Актрисы с Богом; ностальгия
Беспочвенная. Пополам
С притворством, — выпейте другие
Коктейль молочный...

Сырость.

Стыд,

Как после страсти с перепою.
Облезлый кот с хозяйкой спит,
Щемит объятие слепое
Рукою ищущей (следы
Земли — как въевшегося шрифта)...
...Окошко в проблесках слюды
Переливающейся, кривда
Гниющей рамы... Как маньяк,
Самим собой изнемогая,
Радиостанция «Маяк»
Или какая-то другая...
И так давно и далеко,
Что и несбыточно как будто.
Переливалось молоко,
Последней капли незабудка
Светилась...

Женщина зевком
(Ржавей пилы полоска десен)
Кивнет; корявым босиком
По хриплым доскам выйдет в осень,
Поеживаясь, — холода
Рассветные, как в прошлом годе..
И, ни стара, ни молода,
Приемлет все, что происходит...

...Узнай, что гость — голодный враг.
Возненавидит и — накормит...
И так доверчив этот мрак;
И так дремуч, как эти корни
Под облетающей листвой.

Неизлечимая природа.
...Молчи. Никчемный пафос твой
Не даст ей мужа и прироста...
Как ни юродствуй — не смешно...
...Заголосить по ней, напиться?
На крыше в ржавчине ржаной
Трепещет красная тряпица
Так жалобно, уныло так —
Как с увядающего древа...
Как будто начали латать
И бросили — до обогрева
Лучами
(благо — далеко
И цвет от сущности оторван)...

...Переливалось молоко
В отрывку утром — рефлексивно.
Как все, что нас пьянит сперва.

...Потом, вздохнув, уходишь с Богом
Не пить — но горько воспевать
Переливающимся слогом...

* * *

Зачем
пейзажем
бережим
Свое,
надломленное,
сирое?
Ответный взгляд необходим?
Обмен спасительными силами?
Чужой беды зеркальный свет?
Напротив, промельк звонкой клавиши,
Внезапный, как велосипед
На склоне осени и кладбища?...
Светись, пронзительность берез,
Эскизно робкая и частая,
И созерцание до слез —
Уже на грани соучастия...
Природа тем и хороша,
Что рядом видно далеко ее...
Смотреть и слушать, не дыша,
Не унижая аллегорией.

* * *

Пастернак будто внове — в траве.
Рифмы переливаются в капли,
Зелень бьется, как в клове у цапли,
В остром взгляде и в цепкой строфе.
Зацепило — читай, почитай,
Причитай над не встречею, — благо,
Истончилось лицо, как бумага,
Белый срез — роковая черта.
Запоздалые всплески любви
Над простынным всхолмленьем страницы.
А сомкнутся ресницы — приснится:
Ворот настежь — на вдохе живи!
Не терзай меня, титульный лист,
Этим снимком неисповедимым...
...Снова ночь, леденящая свист,
Снова двух соловьев поединок.
Сны — парение, а не провал:
Вот стоит он, угрюмый, угластый,
Реалисту чужой и схоласту,
Будто Альтман его рисовал...
Вот уходит: зови — не зови...
(А в картинке повинен Катаев.)
Хмурый, темный, вовек не оттаяв,
Не дождавшись последней любви...
Мало жертв ему было и бед,
Так еще этот — минами — клевер...
А вдали дуралей- жеребец
Шумно
дышит
в породистом
гневе...

* * *

Не отражают зеркала,
А наше зренье выражают:
Увитый шишками талант —
Хоть в стенку лбом — за миражами.
Во власти чар любимых черт
С тяжелой зыбью под ногами
Угрюмый, желчный интроверт
Цветет нарциссом в амальгаме...
Сияй, неведомая даль,
Куда соскальзывает разум, —
Потусторонняя печаль
Открылась там огромным глазом...
Там, в Зазеркалье, только там,
За пыльным прахом периодик,
До слез понятен Мандельштам —
Как марсианин в переводе...
О, мета физики в коре —
Способность плыть, не зная броду,
И раздвигать слепую воду,
И не почувствовать порез...

* * *

Кажется?
Бредится?
Снится?
Город черты потерял...
Дождик смывает границу
Яви и небытия.
Что у виска просвистело?
Поздно. Уже не найдешь.
Плащ, обтекающий тело, —
Непромокаемый дождь.
Словно вращаешься в сферах
Шарообразных — листа.
Фары буксующих скверов —
Вспышки цветов у лица.
И, растворяясь во фразе,
Всосанной в карандаши,
Светится в сдвигах по фазе
Высшая правда души...

* * *

Двоюродный лире певучий кувшин
и галькой селеновой эллипс лимона
прохладны глазам, как телам — крепдешин
в полуденном зное, томящем до звона
в ушах, до мифической связи сирен
с оливковой мухой, в девицах — навозной,
вулкана — с букетом; сарьяновский крен
июльской природы, готовый на воздух
взлететь из последних расплавленных сил,
снимает как приступ сквозная терраса
миражем осенним...
И дышит настил,
не сдавленный ворсом и пылью паласа
полянного.
Кто изобрел витражи —
наркотик для зренья, эффектный двойко:
сперва одеяльце лоскутное лжи,
а после — мозаика памяти, яда
целебная доза... И падает жар,
и столбик венозный бледнеет, как будто
снижается в воду оранжевый шар,
висящий над сыном, сидящим как будда;
И бой в барабанных, слабеющий в стон
настенных, и оспа газетного фона...

И вот проступают кувшин и лимон —
Бессмертная и совершенная форма!

* * *

Загнуты, как фантики,
крыши фанз.
Формочкой в песочнице
в Фивах — сфинкс.
Поселиться в антике
возле ваз?
Возле вас без отчества?
Ветра свист...
Сколько в жизни видано
из окна...
Как листвою выткана
ТИ-ШИ-НА...

* * *

Клеенка. Стакана ребро
Сквозь дрему — колонной...
Так столбики света в метро
Скользят по наклонной,
Березы — в ночном ветровом
Кромешном квадрате...
Забиться во сне видовом
У края кровати.
Забиться...
Свисает рука
(Не холодно — Лета)
И светится из Далека —
Душой из предмета.
В последних секундах до сна
Падение вишен.
А мир, словно вид из окна,
Насквозь неподвижен...

* * *

Через плечо заглядывая в книгу,
Следит строку старательным лучом...
Ну что ж, читай, пристраивайся к мигу
Того тепла, где солнце — ни при чем.
А я закрою камешками зренье,
Перевернусь с душою заодно...
О, праздник лени, день благодаренья
И смена кожи, канувшей на дно!
Звенит комарик,
 мета
 в локоть
 дальний
(Такой гурман, что в сущности — аскет)...

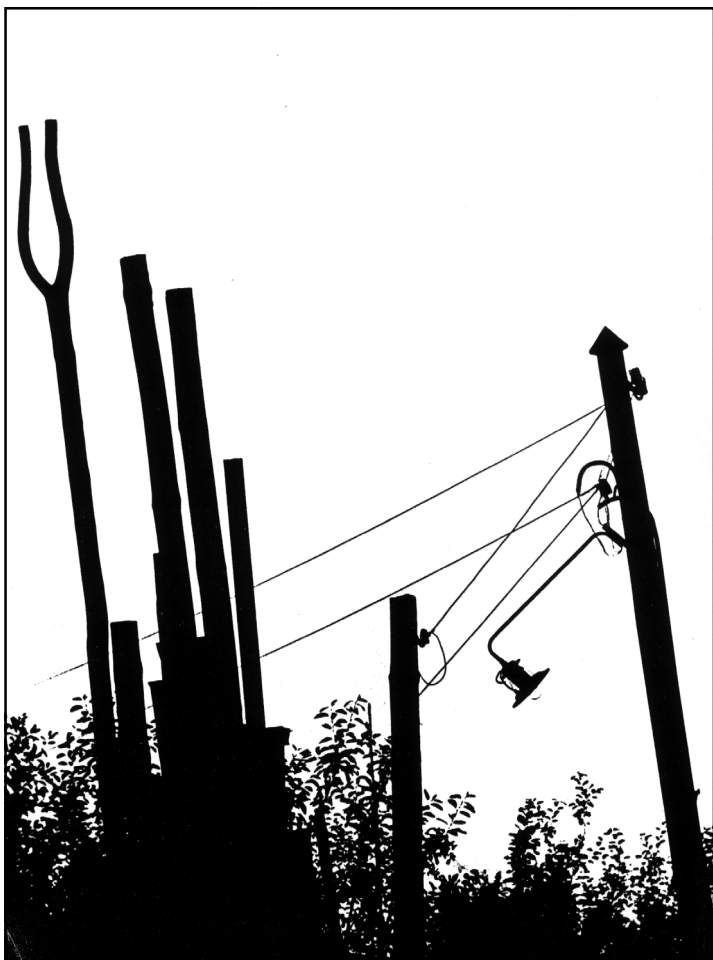
На свете нет работы гениальной,
Чем грызть травинку, лежа на песке...

148

* * *

Поиграю дразнящей бумажкой
с беспризорным котенком судьбы...
Будто хвостиком черным помашет
лоскутом закопченной трубы...
Ухитрится бечевку запутать
так, что пойманной рыбой — гортань...
А царапался в двери — запуган
и пискляв — ну, не плачь, перестань,
ну, обнюхай, неверящий, блюдце,
весь в коросте — ночуй на тахте.
...Видно, звезды над нами смеются,
Разбиваясь на черной черте.
Слохвятилась... Прижался котенок,
Присосался, прижился вконец
и ночных, и подземных потемок
шелудивый сиа́мский близнец.
Пусть растет, обретает величье...
Доиграюсь — извольте карать.
Но судьбе и в Господнем обличье
не позволю с собою играть!

149



ИЗ КНИГИ

«ПОДЗЕМНЫЕ ЦВЕТЫ»

(СТИХИ 1980–1987 гг.)

ПЕТЕРБУРГ, «TERRA—FANTASTICA», 1996

* * *

Кому даны слова — тем четки не нужны:
Уравнoвесишь дух строкой стихотворенья
В молитвенном углу бессонной тишины,
На клятвенной реке в туннель
столпотворенья...

Кому даны слова — тем счастья не дано
Иного: ввысь, к Нему, устами бессловесных,
Как чайки над водой, гортанно и черно,
Чьи крылья — абрис губ, сожженных, бестелесных.

Кому даны слова — тех по камням в грозу
Протащит за язык Пророк за колесницей;
И бритва осмеет венозную лазурь
Анализом на миф и желтою больницей...

Кому даны слова — тем слова не сдержать:
Сорвется, и в туман заблудится белесый...
Кому даны слова — дано принадлежать
К юродивым, до слез смеющимся сквозь слезы.

Памяти А. Морева

От великой души до банальной судьбы —
Только жизнь, и не больше того...
Забивается пылью дыхание трубы
Под бульдожьим замком кладовой.
Так высокую ноту впотьмах берегут —
Спился сторож и пафос осип...
И не траурный марш у обветренных губ,
А досадная мелкая сыпь.
Да и что было ждать на промозглом ветру,
На унылом летейском дожде,
Где березы, как палочки Коха, к утру
Кольхались в подробной воде...
Просвещенных невежд возгордившийся век
Не допустит линейных потерь:
На бесславную твердь обречен человек,
Тщетный труд и слепую постель.
Наглотайся вестей и звезду потуши,
Акварельные сны позабуди...
До безвестной судьбы от пропащей души
По России — укатанный путь...
Не блазни же, Господь, галереей миров
Муравейник хвальбы и хлопот,
Чтобы в бледном, клиническом свете метро
Не почудился выход и вход...

* * *

Не могу отрешиться от горестной нашей судьбы...
Поднял каменный лев волевою утрюмую лапу...
Больно плакать и петь.
Бесполезно идти к эскулапу.
Как ты давишь, о, Рим...
Мы варяги твои и рабы.
Что нам радости в том, что могучи твои колоннады
Только злее трещат под классической ношей хребты...
Приходи же, о, Рим, поскорей в неизбежный упадок,
В грязь лицом упади с высоты.
Вот тогда-то и пустим по кругу певучую чашу
И расслабим запястья в наручниках типа «Заря»...
Здравствуй, нищее время, божественно голое, наше!
Мы явились и жили не зря...

Эрмитаж

О чем ты думаешь, Афина,
Мадонна — Мраморный Венок?
Какая свалится лавина
На эти головы у ног
Золотоплешные, как дыни,
Без тюбетеек и папах,
В распоясавшейся гордыне
И потной шерсти нараспах?
Какие, Зевсом осиянны,
Грядут грома, и что беречь?
Увы, потомкам обезьяны
Невнятна эллинская речь...
Глазеют, щупают украдкой
К себе примерить — пьедестал...
И называют прочной кладкой
Светящей вечности кристалл...

Пучок сонетов не-о-любви

* * *

У поклоненья на устах
Флоренский, Соловьев, Бердяев.
В каком скиту, в каких лесах
Спасть от книжных разгильдяев...

Есть жизнь как жизнь... Ее хозяев
Бегу — при шах и при постах
Флоренский, Соловьев, Бердяев
Для них похерены в пластах...

Здесь мезозой, а в тех местах —
Флоренский, Соловьев, Бердяев,
Святой огонь... (Когда с блядами
Священнодействуют в кустах.)

И совесть хмурая чиста.
И дева внемлет, рот раззявив...

* * *

А дева внемлет всем подряд:
И неوفиту, и неону
Вечерних вывесок. И звону
Всех истин, кои не горят.

Ей соблазнителен наряд
И ретро-Хлои, и Юноны;

Рахили, благо, говорят,
Что нет погромов в годы оны.

Феллини любит макароны...
Сервизы в воздухе парят...

Ну, а художники — творят,
И воспарят постпохоронно...
(И сей кишечник между гряд
Взойдет за внутреннюю крону...)

Вздохмачу крону... Отряхнусь
От хрупкой ветоши. Ну что же...
Перо к ногам роняет гусь,
Сезон цветения итожа.

Гуськом паломники... И пусть
По веткам дрожь, мороз по коже,
Мне семантическая грусть
Псевдоромантики дорожке.

Поскольку голый мозг на ложе —
С медузой пламенный союз,
А реалистов сочных рожки —
Как шахматисту нужен туз.

Уж лучше так: соленый вкус
Губы прикушенной; но все же...

Но все же в мире голых схем
И обнаженных разногласий
С самим собой, есть выпить с кем,
Кто без цитаты свет погасит...

Чей интеллект иных систем:
Как керогаз... (И не опасен
Не для соломы...) Тем прекрасен,
Что просто девственен и нем...

Закончив дело, спит... И ясен
Лоб, не гудящий от проблем.
Но так сопит, что к месту Брэм...
И тацит в заг, как в угол красен...

А сотворить себе гарем —
Хлопот, как дети в каждом классе...

О, бабники! О, высший класс!
Неоцененные таланты!
Переходящие, как пас,
Горизонтальные атланты...

Есть в море жизни только брасс,
О чем не знают дилетанты,
Они используют матрас,
Как пьедестал для чтенья Данте...

Мир тратит век на пошлый фарс:
Собратья, званья и серванты...
О, проходимцы скользких трасс,
Из всех эдемов эмигранты!
Еще люблю, что бросишь вас —
Не рветесь в траурные канты...

* * *

Кант прав... Трагическая суть
Судьбы выходит за пределы
Любовных пролежней... И телу
Простерт все тот же санный путь...

Светает. Вдох колышет грудь...
Начать с доски, где снова бело?
Но что за птица ночью пела
И скрылась в матовую муть?

Покуда в градуснике ртуть
И память в нас не охладела,
Хотела б знать, чего хотела
Душа, не заживо ль уснуть?

Иль кое-как и как-нибудь
Повеселиться неумело?

* * *

Веселье листьев, что висят
На волоске... Косяк лентяев,

Собой замусоривших сад...
Флоренский, Соловьев, Бердяев...

Какими тонкими сетями
Опутан мир, где все не в лад,
Все невпопад; и сердце тянет
Неудержимый листопад...

Где сам себе не больше рад,
Чем заусенцам под ногтями,
А если руку друг протянет —
То нестерпимей во сто крат...

Уж лучше шашни или мат,
Тот, одноклеточный, с ледями...
Флоренский, Соловьев, Бердяев
На опохмел, как говорят...

* * *

Россия. Ночь. Атараксия.
Тетрадь в светящемся кругу
И голубые на снегу
Линейки сосен теньевые.
Не эта ль сумрачная связь
Сомнамбулических сияний
И не дает, как в ересь, впасть
В отъездов горькую всеядность?
Все древесина и вода.
Но Боже! Как осиротело
Молились рухнуть господа
Не от инфаркта — от расстрела...
И улыбающийся в блиц
Весь мир заменит мне едва ли
Кастальский луч в слепом подвале
В стальном репейнике границ...

Письмо в зону

Л. Волохонскому

Я напишу тебе, как начинается осень,
Как заржавели колочие наши деревья...
Лающий ветер сигнал о побеге разносит,
Утка на блюдо слетает с пучком сельдерея.

Я расскажу тебе, как хорошо и уныло
В голых садах, где никто не прикинулся вечным.
Облако в луже вскипает и гаснет, как мыло.
И ни просвета, ни брата, ни веса в заплечном.

Нет, не украсил медалей твой доблестный профиль,
Но и детей не сослали на заднюю парту...
Водка не греет. Хандрю потихоньку под кофе.
Руку кладу, как судьбу, на невзрачную карту.

Контуры счастья темней, чем пунтир пулемета...
Чувства устали. Осталось и теплится — меры...
Так и живем: вдохновенье, зарплата, суббота
До воскресенья Любви, и Надежды, и Веры!

Так и состаримся в этом октябрьском загоне,
Не наблюдая курантов на праздничной вышке,
Где за поэтом следят, как за вором в законе,
Звезд нахватав, уж, конечно, не с неба, мальчишки...

Мир их большому, до слез петербургскому дому...
(Пусть затаятся, а вслух никогда не прольются...)
Что нам поведать друг другу? Все слишком знакомо:
Прах наших листьев, и Кранах, и мрак революций...

Окна блокадные — голодны наши конверты.
Теплое слово в голубенький гробик забросим,
Вдруг долетит, оживет... И, как хрип из каверны,
Кто-то услышит: и здесь обнажается осень...

Прогулка с сыном вдоль забора детского дома

От сиротского дома, где бросила пьяная мать,
Этот горестный шарик покатится в светлые дали...
И страна его будет, как сына, к холмам прижимать,
И, как цапки, дарить, разбудив по тревоге, медали
За ангины на койке казенной, за слезы в кулак...
О, российская, бабья, простынно-похмельная жалость...
Ведь не царский сучок, не отродье зарытых в ГУЛАГ,
А родное, свое... Вот и сердце по-божески сжалось...
...Ну, конечно, отдай все конфеты, смешной воробей
В продувном пальтеце, из которого выросли трое...
Голубые железки, мое беспокойное роэ,
Ты простишь ли потом, что, увы, не безродный плебей...
Что тебе отродясь птичьей клеткой родительский дом
И обноски, объедки, задворки за детское счастье.
Если пьяная чернь не проверит железом запястья,
Не дурная ли кровь у того, кто начертан жидом...
Если черная пьянь не сойдется на книжный пожар,
Хохоча и крича: «Докажите, что слово нетленно»...
...Так спешి пожалеть робеспьера с разбитым коленом
И, конечно, отдай и конфеты, и розовый шар...

А. В. Македонову

Мы нараспев дышали Мандельштамом,
Почти гордясь припухлостью желез...
И жизнь была бездарностью и срамом,
Когда текла без мужественных слез.
Оберегая праздников огарки
Средь ослепленной люстрами страны,
В дни ангелов мы делали подарки
Друзьям, что были дьявольски пьяны...
Так и выросли: горечи не пряча,
Брезгливо слыша чавканье и храп;
И в нашу жизнь — могло ли быть иначе —
Вошли Кассандра, Совесть и этап...

Ночное дежурство

Как торжественна музыка в 24 часа...
Даже можно поверить, что наше злосчастное время
Называют великим... Что были и мне голоса,
И утешно взывали тянуть эту лямку со всеми...
Где еще так пирует, как в нашем раю, нищета!
Полыхает судьба в закопченном подвальном камине.
Мы свое отгорели. Нам черные риски считать...
И котельных котят неприрученной лаской кормили.
Да святится манометра — узенькой лиры — изгиб!
(Чуть пульсирует жизнь в незатянутой этой петельке...)
Так Орфей уходил. Так огонь высекали — из дыб...
Так меняют режим социального зла — на постельный...
Что российским поэтам на ярмарке медных карьер,
Где палач и паяц одинаково алы и жалки...
О, друзья мои, гении: дворник, охранник, курьер,
О, коллеги по Музе — товарищи по кочегарке!
Что играют по радио? Судя по времени — гимн...
Нас приветствует Кремль в преисподних ночных одиночках...
Мы уснем на постах беспробудным, блажным и благим,
И слетятся к нам ангелы в газовых синих веночках...

* * *

О, времена: нужник, наждак
Небрityх щек и вин смешенье...
Кто спросит, можно ль снять пиджак,
Штаны — и то без разрешения...
О, слог: привет, салют, виват...
О, рок... И век не виноват
В своем блистательном уродстве.
И мы вступаем с ним в родство,
Как погружаемся в раствор:
Существовать, а не бороться...

Что проку в ханжеской ворчбе,
Поэта требует народ
К священной жертве, к ворожбе,
Что орошает огород...

Нам не дожидаться перемен,
Нам шестеренкою — лимон.
И вянет, морщась, цикламен.
И процветает гегемон.

Мы удобрения земли,
Ростков, грядущих через грядки.
Хоть это мы еще смогли,
Когда захлопнулись тетрадки...

Что проку плакать над собой
И земляничною поляной,
Когда тебя сантехник пьяный
Прижмет под фановой трубой...
Люби его как, этот мир,

Раскрой ответные объятия
(Куда как трогательно мил
Ком с кожей содранного платья)...

Хоть это мы еще смогли:
Сплатить последние рубли
С могучеплечим авангардом,
Пожечь стихи. Похерить страх.
И проигравши судьбы в прах,
Не удавиться над огарком...

* * *

Нет, не за то, что нет чесночной
И краковской (хоть никакой!),
Что политический чиновник
Икру грабастает рукой, —
Пуškai нажрутсѧ до икоты,
Еще стройнее будем мы
Без ширпотребной позолоты
В сквозном сиянии зимы...
Ведь не зверье, чтоб быть без меха
(И не без перьев соловьи)...
Нет, не за то, что мир объехать
Нам не дадут и за свои...
И не за то, что ваши судьи
Загнали нас в кольцо флажков,
И не за то, что наши судьбы
В руке соломенных божков...
Но за оборванное здравье,
За слог, почерпнутый из ям,
Мы счет предъявим этой власти
По всем сонетам и статьям...
О, логос-лотос, ты растоптан,
Ты обещен на корню
Публицистическим восторгом
И бранью невских авеню...
Слух голоден. Эдем, олива,
Фонарь, аптека... О, изыск...
Начпулс, горгав, тыр-пыр, главпиво...

Любая кара справедлива
Как месть за вырванный язык!

* * *

Любите живопись, поэты!
Н. Заболоцкий

Не живопись, а жиропись. И не
Картины выставляются, а те, кто
Замешан в их создании... В стране
Сознание — отступление от текста.
И мыслящий инако (и на кой...),
Но мыслящий не может не инако!
Бредет запоминающей рукой
В прицеле запрещающего знака
По шпилью — золотому волоску,
По краешку гранитного багета...
...Наркотики, вводящие в тоску,
Отринуты: элита и богема;
Не живопись, а мертвопись. И не
Палитра, а цветная политура...
Как странно уживаются в стране
Смурная и казенная халтура...
Как пьяницы с милицией: бредут
В обнимку, а прохожие — по краю...
Шарахнешься, поморщишься, и тут
Окошко, воссиявшее — сгораю!
И живопись! И жестопись! Стоишь
И слушаешь, как светится дорога,
Кого-то увозящая в Париж,
Кому-то заостряясь до острога...

.

* * *

Ни живого огня у печи и свечи,
Ни чернильной томительной влаги...
И, как Дева Мария, уныло пречист
Светлый лик одинокой бумаги.
Как ты выжило, Слово, до наших имен,
Еле слышных в плебейском разврате,
Где публичная Муза сосет микрофон,
Пьяный Каин рыдает о брате...
Так чудовищно сбылся обещанный хам,
Как не верить насчет остального...
Ничего не добавишь к библейским стихам,
Кроме тихого вздоха ночного...
Полустертого между прощай и прости
Полушепота, рвущего связки!
Кроме хруста бессонницы в лобной кости
Отмирающе-лунной окраски...

* * *

Не беда, если копится тихая грусть,
И прощаем друзей, и на Бога не ропщем...
Предпоследняя ясность вливается в грудь,
Как звенящая высь — в облетевшую рощу...
Синева ноября и крадущийся шорох вдали...
И спина, обращенная в слух, вздрогнет:
хрустнули ветки...
С опозданием на вздох...
И нахлынувший запах аптеки,
И углом под ребро уле-
тающие журавли...
... Чьи холодные руки на веки легли,
Словно в детской игре...
Неужели навеки?

* * *

С. Бурченковой

Кто ждет конца, а кто — начала Света...
Кто просто лета — влажная земля...
Крест на обложке Нового Завета
Не сувенир, а мачта корабля!
Кто пьет в корчме, кто — с удочкой на берегу,
Кто фанатично верит в чудеса...
Звучат морзянкой в Ноевом ковчеге,
Перекликаясь, птичьи голоса.
Кто красит яйца, кто целует братьев,
Кто услаждает брюхо куличом...
Фасады зданий и фасоны платьев
Согласно плещут майским кумачом!
Блажен, кто нынче верует во что-то,
Не из одной макаки сотворен...
И чист четверг. И светится суббота...
И Летний сад шуршит календарем...

* * *

Не то чтоб эту или ту
Черту, — как простенько и мило...
Не чистоту, а наготу
И боль неприбранного мира
Нам тщится выразить зима,
Как париографы Эллады...
И студень лунного бельма
Смущает мрамор колоннады.
...Увидь в светящемся кругу,
Влачась подавленно с попойки,
Скелеты елок на снегу,
Ночное пиршество помойки...
Останки прожитых вещей,
А под мерцающим каркасом —
Компот осклизлых овощей,
Кровосмешенье рыбы с мясом;
Меню, прилипшее к бокам
Кота, что был комочком рыжим,
И вздрогнешь: черви по рукам
Ползут к запястьям...
отвори же...

* * *

Фотохудожнику В. Иосельзону

Восхитительных луж и обшарпанных стен,
И сквозных достоевских дворов
Нам достанет на жизнь, и потом, и за тем
Тушиком запредельных даров...
Голубой скорлупой отлетающий хруст,
Утлой лодочкой тонущий след...
Если с детства гнетет априорная грусть,
Ни при чем эмпирический свет.
Ни при чем наших гнезд коммунальный галдеж
И нависшие гробики птиц...
Продолжением сна после смены идешь
Мимо тихих расплывчатых лиц...
Ты какую зарницу подсек, браконьер,
Хвост на память, а сущее — спас?
Это гетовский спектр, феномен Паркинье,
Золотой и сиреневый спазм.
Это легкий снежок, на лету серебра,
Опыляет анод и катод...
Да обрящет искусство бежать от себя
Крылья радуг в ячейках пустот...

* * *

Ну что, народники, жалевшие народ
На посмеяние народу...
Смотрите, как улучшил их породу
Руля истории скрипучий поворот...
Откормлены. Обучены зевать,
Прикрывши рот. Не плюхаться в кровать,
Не ублажив себя шампунями до пяток...
Не губернатор: целишься в живот,
А он простит...
Взроптавшего народ —
В Сибирь с женой и выводком ребяток...
Не террорист (какой там террорист)...
Перевелись, а может, подлечились...
Читал не то. Глаза не тем лучились.
С заглавной Бога выводил на лист...
Ну что, народники, листовками соря,
Не знали вы, куда ведет крамола,
Что правде лучше уж наложницей царя,
Чем проституткой комсомола...
Мужик хитер: в телегу под хмельком,
Интеллигент — по пояс в бездорожье...
...Они ошибки ваши подытожат,
Как вдруг, разжалобясь, поили молоком...
Ну что, народники, все квиты и равны,
Вы защищали их, их дети — рефераты
О том, как были вы смешны и виноваты,
И кровью кашляли, и смысла лишены...

* * *

как волхвы над колыбелью под звездою ритуальной,
наклонились над культурой три марксиста: дарвин, павлов
и мичурин, к ним присохший черенком корявым сбоку,
и все вместе дружно шепчут, что сознание вторично...
и с тех пор в гнезде трагедий раздается визг пародий,
превращая понемногу человека в обезьяну...
и художник у распятия слезы слонками глотая,
подтверждает безусловность безнадежного рефлекса...

* * *

И не видеть в упор, и не слышать вестей,
и отречься: дышите, стихи,
до сыновних детей и до синих ногтей
трупным ядом осенней трухи.
Все равно эта жизнь от судьбы далека
и светла, как в Аиде гроши...
Даже если царапнет фрезой василька
по открывшимся венам души...
Даже если с улыбкой забудешься тут, —
убаюкает сад навесной,
где скворешни, как детские гробики, ждут
постояльцев и пахнут сосной...

Похмелье

Кажется, все принесла тебе в жертву, костлявая Муза...
Ноющий лунный все ближе — как точат косу...
Что тебе надо?
Я радужнокрылая муха,
рыба на дне в бесхребетном вопочем лесу.
Стелются водоросли и осклизлые твари,
рак из-под камня ошпаренной машет клешней.
Что мне терять, мне, рожденной в библейском отваре,
в скобках сиянья... (Да если б не страшно — смешно...)
Что мне жалеть, все раздавшей подневно, дословно
(Грудь в потроха — шевельнешься в ножовой воде)...
Дай мне дожить до смородинно-красного, злого
эха глазного в стакане захватанном, где
столько уже утопилось, что сбилась Россия со счета...
(Горечь и ненависть — все-таки двигатель крови...)

...Радужнокрылая муха, ну что ты все кружишься, что ты?..
Мертвые рыбы сияньем стоят в изгололье.

* * *

Пора простить себе потерянный покой,
А значит, и другим спокойствие и сухость.
Вздохнуть до позвонков.
И на исходе суток
Махнуть на все рукой,
А не крылом.
И лечь.
Нахлынет потолок.
Подкожная тоска, и давняя, и эта...
Как, вспыхнув, медальон защелкивал глоток,
Вобрав глазами прядь слабеющего света...
Прощание с числом. Черемуховый шок.
На взлетной жести крыш — подрагиванье капель.
И душит воротник. И вглубь забитый кашель.
И режет русла вен потертый ремешок...

* * *

Г. С. Семенову

Эти черточки, точки, черты
Грустной Родины...

Взгляд запрокиньте:

Крылья чайачьи — черные рты,
Что размножены на ротапринте.
И оберточный серый туман
(Измнется, пропитанный влагой).
Это все — нелегальный роман,
Осужденный остаться бумагой...

* * *

Июльский город — рай полупустой...
Прозрачный воздух. Сочные газоны.
Я здесь живу. И утренние звоны
едва слышны, как будто за чертой...
Я здесь встаю по шелесту души,
по всплеску сини в невское надгробье.
О чем еще?.. След времени над бровью
красноречивей, что ни напиши...
Кто на море, кто за море, кто в прах...
И я не здесь, а где-то между ними,
где помнят слезы, где ласкают имя,
как родинку, запрятанную в пах...

* * *

Двуглавый золотой матриархат,
Железная рука Екатерины.
На плац, герой! Накатаны перины...
(Посмотрим, кто ты: маршал иль солдат...)

Подумать, как России повезло
В тенетах сексуального улова...
А если б в те же сети — не Орлова,
А индюку — державное крыло?!

Спасибо, граф, что одержали верх
И воцарились в нашем будуаре...
(Турецкий флот плывет в ночном кошмаре
И над Невой справляет фейерверк...)

Да мы должны молиться на судьбу
В Чесменской сказке, в шторах Эрмитажа!..
Я графский жезл поставила бы даже
Под стать Александрийскому столпу, —

Вот славный штык... Он с честью одолел
Самодержавье женщины у власти...
(Где ордена на грудь — по сходной страсти
И Акатуй — как чтоб ты околел...)

* * *

Чудес не бывает. Не сядет на шпиль самолет.
И блик мотылька опростается кислой тряпичей,
Бесплодная слизь... И чему не дано — не случится.
И ляжет на жизнь затяжной бронированный лед.
Сезонность печалей — не каверзность календаря.
Приметы погоды — унылая дань суесловью.
Что пишем не кровью, смущаются критики зря:
Вот именно ею, густой регулярно кровью...
Нечистой и честной. На свой — расчлененный — аршин.
Танцующий циркуль — отросток свечи поминальной.
И трепет струится по впадине между вершин,
Горячий, как воск, и банально-экзистенциальный...
Застынет мгновенье. Затянется белый рубец
Не солнцем, но тучей. Обыденно и безвозвратно.
А листья? А снег? Это памяти заспанной пятна,
Осадки творенья... И чудо судьбы, наконец!

Мои современники
(венки сонетов)

Летучих рифм целительные жала
И тоньше, и изысканнее яд.
Но вся Россия пела Окуджаву,
А что ей Шварц, Кривулин или я?..
Что ей с того, что слез изящны блески,
Что изощрен творительный падеж...
Не рождество у елочек кремлевских,
А лишь реанимация надежд,
И слишком поздно, век затихнет скоро...
И каждый, за свою схватившись боль,
Поймет: не сон мы — сон, мы сонм и город,
Но не Россия... Призрачная роль...

О нас напишут, ведаю заране:
Бескровны жизнь и смерть на поле брани.

Бескровны жизнь и смерть на поле брани
Бездарностей... Есть способ удавить
Еще верней: похоронить заране,
Из поля зренья жестом удалить:
Кого бранить? Кто помнит имена их?..
Всех поглотила черная дыра...
А те, что все же слышали и знают,
Иудин доллар ждут из-за бугра...
Нет, не валюта валидол в аптеке,
Наш гонорар... Несносен наш союз.
Но в Эрмитаже и в библиотеке
Слагался он под сенью грустных муз...

Жрецы искусств, а пили в ресторане,
О нас напишут, ведаю заране...

О нас напишут, ведаю заране,
Немало всякой горькой чепухи...
А правда в том, что мы не на экране,
Не на трибуне верили в стихи;
Не в кассе: сумма прописью — за веру...
...Через решетки слушая синиц,
Мы, эллины, привыкли к интервью
Котельных и смиренных больниц...
Спасая мир от мнимой катастрофы,
Кто там крадется тенью по стене?
Держись, Олег (за что ж еще? за строфы)...
Привет Сереже. Помни обо мне...

Мы сон и сонм, откуда ж эта боль?
Но не Россия... Призрачная роль.

Но не Россия — призрачная роль
Постигла нас, как всех, кто похоронен...
Летим на спиритический пароль,
Пугая холодком потусторонним
Вертевших стол... Игнатова? Нет, тень...
А где сама? Вестимо, за границей?
Да, ваших глаз... И вам на скудный день —
Явление поэта за страницей...
Мы где-то там, где нет границ и лет,
Простите нас, что мы не вездесущи,

И что о вашей жизни на земле
Так мало знаем, — занавес опущен...

И кто-нибудь, рванувший тесный ворот,
Поймет: не сор мы — сон, мы сонм и город.

* * *

Поймет: не сор мы — сон, мы сонм и город.
Как долгодолгий памятник — гранит...
Ты Стикс, Нева... Здесь каждый был и порот,
И счастлив в детском хоре Аонид.
Трезв Ширали, Кривулин безбородый
Уже пророк, но чуда — не конца...
Мы шли в народ, и в нас была порода,
Быть может, от небесного отца...
И кое-что от Глеба и Давида.
Ты Стикс, Нева, но грех не без родства...
Блажен, кто знал: нам тесен мир Эвклида
Был с первых строк, с ночного озорства.

Кто виноват, что снег проела моль.
И каждый, за свою схватившись боль...

* * *

И каждый, за свою схватившись боль,
Не слышит даже стонущего рядом.
И корчится. И сыпет в рану соль.
И соты мозга наполняет ядом.
Да, пессимизм, да эгоизм. Да, так.
Кто не бессмертен — тот не безупречен,
О чем и стонем... А больничный мак

На белизне — как там, на Черной речке...
Дантес — француз, а нас — не чужаки...
(Что из того, что Аронзон — не Пушкин...)
О, как улыбки щерили клыки
В не знавших, что приблизились к кормушкам...

Давно ясна причина приговора,
Но слишком поздно: век затихнет скоро...

* * *

Но слишком поздно: век затихнет скоро,
Скользнут на дно медузы метастаз...
Не мы его надежда и опора,
Не мы ему предстанем в смертный час.
И нам не он: воинственный, хвастливый,
Забывчивый... Но счеты ни при чем.
Он тоже был доверчивый, счастливый;
И столь же глух. И также обречен.
Хвала ему, что лось берет мякину
Из рук ребенка, что не все — металл,
Что Королев Гагарина закинул
Туда, где миф младенцем пролетал...

Нет синевы синей прощальных вежд.
И лишь реанимация надежд...

* * *

Аминь, реанимация надежд,
Здесь о венок споткнется неотложка...
Осколки ампул. Карканье невест.
Латынь. Священник. Детская галошка...

Ну вот и все, сердца сгорели, в нас
«Остался только пепел...» Это Дудин
О той, где выжил... Нет, не на Парнас,
На Южное, туда подъем не труден.
Объедем город — праздник задарма...
Не унывайте, сфинксы и атланты!
Как хорошо, что все-таки зима,
И в желтых окнах — юные таланты!

Пусть щеголяют в Логоса обносках, —
Не Рождество у елочек кремлевских...

* * *

Не Рождество у елочек кремлевских:
Комки об крышку — круглые слова...
Мы будем снова в тихих отголосках
На Троицу, когда взойдет трава...
Что опыт ваш... Мы Клио пережили,
Ценили хлеб — блокадники культур...
И не стоянки — Музу сторожили
От нагледцов с набором партитур.
И не спасли, забылись сном мертвецким.
Рассудит Бог, судьба или вина...
Да, вы — с фашизмом, с варварством немецким,
А с вашим — мы... Священная война...

Что сытым вам, в тщеславии одежд,
Что изощрен творительный падеж...

* * *

Что изощрен творительный падеж,
Уже ежу и критику понятно,
Алле, творец, — извольте на манеж!
Лицо — под грим, в бессонницах помято.
Земля кругла и запах цирковой...
Да нет, увольте, трупы — не паяцы.
И Мандельштам качает головой,
Под колпаком приученной бояться...
Умнейте, перестраивайте строй,
Для вас иконки наши — не помеха,
И нас уж нет... На первый и второй
Вся перестройка... Цирк дрожит от смеха!

Россия... Рожь... Сиротские полоски...
Что ей с того, что слез изящны блестки...

* * *

Что ей с того, что слез изящны блестки,
Что мы, как боги, знаем ремесло;
А ей нужны горшки, и не березки, —
А доски. Дождь. И Ноево весло.
Как дышит склон, морщинистый, пологий,
Но дышит, но вздымается к весне!
Зачем вдове профессор патологий:
Живой мужик — и счастлива вполне...
Мы Фрейда с детской робостью просили,
Нас обжигали Гегель и псалмы.
И хоть в Сайгоне пили, но Россию
(На книгу руку) пропили не мы...

Вот потянулась... Ищет соловья...
А что ей Шварц, Кривулин или я?

* * *

А что ей Шварц, Кривулин или я,
Пудовкина, Охупкин, Куприянов,
Миронов... Каждый сам себе семья:
Сосуд пороков и певец изъязнов...
Что ж, каждому свое... Ворота в ад
И мне маячат... Если станет страшно —
Шприц, морфий, — и нахлынет Ленинград;
Наш нищий рай, наш черствый снег вчерашний,
Воспетый (нынче шамкать и молчать)
До всех святынь, искривленных в каналах.
И если вас отметила печать,
Нас — дерево декабрьское в кораллах.

И вещей кот на крышке бака ржавой...
Но вся Россия пела Окуджаву...

* * *

Но вся Россия пела Окуджаву,
Высоцкого, запретам вопреки.
Хрипела страсть, будящая державу,
Вздыхал Булат — смолкали остряки...
Есть голос крови.
Голос поколения.
И вопиющий глас. И голоса...
Мне голос был: поэты, как поленья,
Трещат в печи, а истина — боса.
Кто горемычней — значит ли — мудрее?

Пусть этот вял, а тот вторично лих,
Скажу, вздохнув, как Белла про Андрея:
А я люблю товарищей моих...

В плену Харит, в компании Наяд
И тоньше, и изысканнее яд...

* * *

И тоньше, и изысканнее яд,
Искуснее пчелиное барокко ...
О, Летний сад, бесплодный Летний сад,
Ты так притих, как будто ждешь пророка...
Мы тени тех, самих себя, прости...
Плюсквамперфект уютней, чем футурум.
Хотя бы мрамор вылечи, срасти,
Не подпускай безбожников к скульптурам!
Мелеет лоб — как не было чела...
И не от крыльев колет под лопаткой.
А надо мной вальсирует пчела:
Нашла цветочек с родственной повадкой...

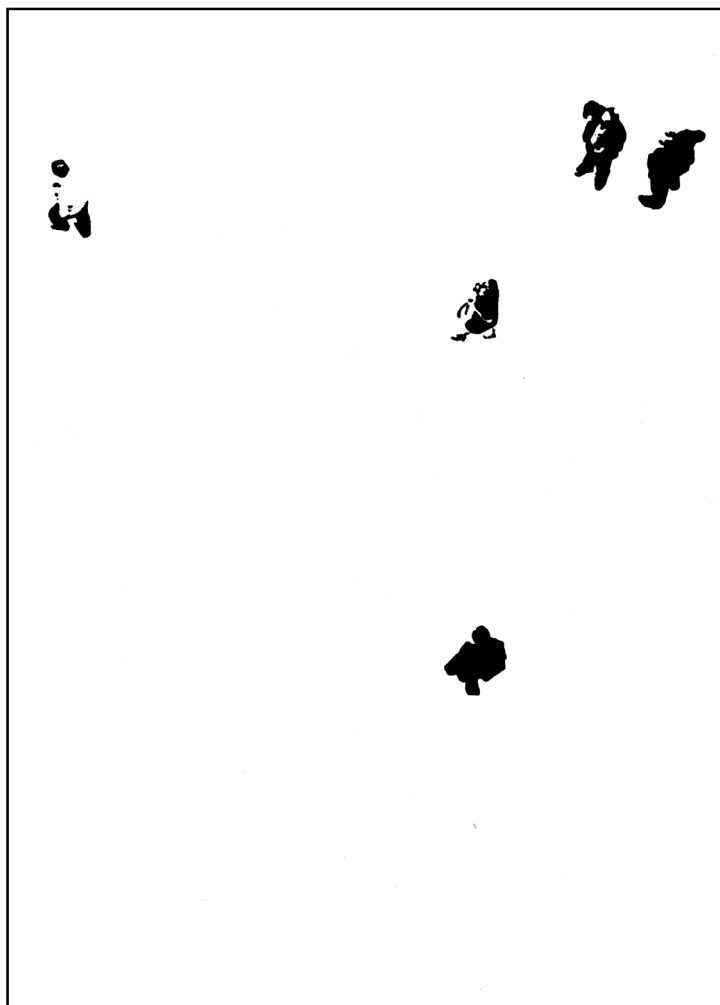
И сжалась жизнь. И, сжавшись, не сдержала
Летучих рифм целительные жала...

Реминисцентное

Не дай-то Бог, чтобы к штыку...
К щиту — и то унижить Слово,
И муки светлые в муку
Перемолоть для нужд столовой...
Не пропадет наш скорбный труд:
На нем и так повеселятся,
И Серафима перельют
На шестикрылый вентилятор.
И пусть обрушатся леса,
И до слепого небосклона
Стригучих просек полоса
Грозит бессилием Самсона ;
Одно бы только уберечь,
Как в детском дворничком атасе:
Почти фазическую речь,
Почти физический катарсис...
А в Прометеи — чур, меня!..
Уж лучше сдохнуть от цирроза,
Чем узреть: тлеет целлюлоза
И смысл — Божественный — огня...

* * *

Мать и мачеха, Родина, мощной шеренгой — дубы...
Я, подвальный росток, задыхаюсь и кашляю кровью.
Лучшей доли не жду и другой не представляю судьбы.
И окошко в снегу — чистый белый билет к нездоровью...
Пусть, взлелеяны солнцем твоим, за тебя постоят
Им завещаны земли и дадено благословенье...
Я ж — подвальный росток, мой приятель — сорняк пастернак,
И отпущено мне только это святое мгновенье:
Только белая каторга, пахота мерзлых листов
Да ущербной луны замогильная полуулыбка...
В этой жизни фламандской нам, слава те, нету местов,
Как в столовой, где ночью бифштексам сопутствует скрипка...
Мать и мачеха, Родина, клетки — этаж к этажу...
И подвальный росток преклонился в твоём изголовье...
Но из блещущих строк я кольчуги себе не свяжу,
Дабы сброд насмеялся над нашей расплеванной кровью.



*Стихи, написанные накануне
путьча
в августе 1991 года*

* * *

А кто-то все еще рождает,
хоть все в России дорожает,
все, кроме жизни... Страшно жить.
Цена дыханию — копейка...
И счастлив более калека,
не уготованный служить...

Слепцу не выдадут винтовку,
хромой не выстрелит в литовку,
во всяком случае — пока...
Есть вещей знак в болезни сына:
не посягнет на армянина
его окрепшая рука...

Присяду тихо к изголовью:
Господь больной наполнил кровью
твои тропинки, чтобы мне
сквозь слезы радоваться втайне:
ты не палач в Афганистане,
ты не прислужник Сатане.

Ты не патрон в чужой обойме,
ты не обрубок в яме бойни,
и, сколько нам снегов и снов
прольется — примем без обиды.
Благословенны инвалиды
в стране, крестовой до основ.

Безумицы! С прощальной лаской
склоняться надо над коляской...
(Ох, наше русское авось...)
И, может быть, в трубе подзорной,
как Спас от гибели позорной,
Чернобыль светится насквозь...

* * *

У залива лежать терпеливо
или молча бродить вдоль залива, —
никаких тебе радиоволн,
не догонят газетные сплетни...
Этот август, быть может, последний...
Видишь лодку, а видится — челн.

Безмятежно насквозь голубое,
и, Бог знает, что будет с тобою:
может — голод, а может — тюрьма...
Но купается ветер в рубахе —
забывается о Карабахе
и о том, что еврейка сама.

Только тем-то и счастливо детство
было, что подносило в наследство
столько неба — до края земли:
совестливые луковки эти,
и восточную сказку мечети,
и готических стрел журавли...

Не грешила походкой монаршей,
становилась печальней и старше,
постигая российский курьез.
И своя проступала порода...
Да, тюрьма для любого народа,
но — свеченье вечерних берез...

Врачевала мне родина душу,
искалечив судьбу. И не трушу
перед новым порядком вещей.

Но артерии с кровью — границы...
Как бы, Господи, нам не напиться
из кровавых народных борщей...

Ишь ты, Ванга, Кассандра, Сивилла,
и саму-то подымут на вилы
взбунтовавшейся пьяной толпой.
Даже выше согласия нету:
тот — Христу, а другой — Магомету
сотворил пьедестал голубой.

Но шуршит золотая дорога
по воде до единого Бога,
до безумной реальности той,
где скользишь — и не тонешь — по влаге,
все равно что пером — по бумаге,
вон и чайка висит запятой...
Но кусты, оголяясь, как панки,
шепчут в рифму: а в Вильнюсе танки?
А в Тбилиси? — Гуляешь, забыв?...
Нет, надолго у нас не забыться...
Август. Отпуск. Горластая птица
оккупирует Финский залива...

Баллада о коммунистической ветчине

Советские радости: розовый шмат ветчины
Марь-Ванне достался, и вовсе не жирный, последний...
«Последний, последний!» — она повторяет и скачет,
И кажется ей, что соседка от зависти плачет в передней.
В какие же праздники мы отродясь включены...
И сколько эмоций, неведомых в скушной, другой,
Нелепой стране (и куда они время девают?)...
Последний, не жирный, такой для души дорогой, —
Столь полного и совершенного счастья у них не бывает...
Так радуйтесь, Марья Иванна, что прожит не зря
Сегодняшний день и не зря закалились в блокаду:
Вам завтра молочную очередь выстоять надо,
Потом — вермишель и подушечки — к чаю усладу,
Но вам обещали давно, что взойдет коммунизма заря...
Вы спите спокойно и честно, заветам верны.
(Суставы кряхтят, сердце сморщилось луковкой в сетке)
...И тут вам является розовый край ветчины:
Последний, божественный... (задние возмущены),
Вы тянете лапку к большому прилавку страны,
А он исчезает в проворной кошелке соседки...

Мечтала хоть час посидеть одиноко у моря:
Пусть ветер-пройдоха докурит мою сигарету...
Забывать об удаче, ее подноготном позоре,
Лицо обращая к молитвенно-лунному свету.
Но вот уже вечер, а солнце являет с усмешкой
В блистательной пене — навыворот мутные складки:
Прощайся с Россией, довольно метаться, не мешкай,
Здесь все с подоплекой и каждый — в бессмысленной схватке.
Я знаю, я помню, я вижу, что я погибаю,
Таскаясь на службу, бряцая на кухне посудой.
Но снова конверты далеким друзьям погибаю
С ответом «не знаю...» и знаю, что смертна повсюду.
И так ли уж важно, затопчут в какой заварухе,
Какой вертухай не оделит живительным хлебом,
Не все ли равно сорокапятiletней старухе,
Не видевшей стран, но якшавшейся с морем и небом...

15-16 августа 1991

Из истории одного стихотворения

Это стихотворение или маленькая поэма, точнее, внутренне сцепленный цикл, названный по месту написания «Стихи в поезде», родился в тамбуре экспресса «Ленинград — Москва» в далеком 1976 году, в глухое к горьким словам и душевной боли время. Однажды был прочитан на поэтическом вечере в Доме писателя, и самое странное, что на сей раз автора не обвинили в антисоветчине, очевидно, купившись на «модную» тогда «народную» тему, и даже предложили отдать текст для ежегодного сборника «День поэзии». Но... никогда не следует спешить радоваться... Лишь спустя три года появились эти стихи в обещанном сборнике, и в каком виде: два отрывка, из которых было убрано все, кроме картинки природы, то есть, по существу, вообще все... Даже строчки «Валидол или дрянь из горла хороши от российских ландшафтов» были вычеркнуты, так как советская природа должна была призывать к радости и оптимизму... Такая публикация поэта могла только скомпрометировать... Наконец, уже в 1995 году журнал «Нева», в редколлегию которого входил и один из тогдашних членов редколлегии «Дня поэзии», предложил опубликовать стихотворение полностью. Опубликовали. Но теперь из него вылетел кусок, повествующий о приходе немцев во время войны в русскую деревню... Вылетел случайно, по небрежности, но даже того, что осталось, хватило для упрека нескольких «бдительных» читателей: ну да, мол, автор теперь живет в Германии и преуменьшает значение Великой Отечественной... (Увы, под стихотворением забыли поставить дату написания.) А дело все в том, что философская поэзия всегда находится как бы над временем и поэтому чаще всего приходится, как говорится, не ко времени...

Здесь «Стихи в поезде» впервые публикуются полностью, и, возможно, они так и не потеряли своей актуальности...

Стихи в поезде

1

Только белые пятна апрельского снега
Да березы, березы — по пояс в воде...
Ну какого, Россия, тебе печенег —
Ты сама же в своей захлебнешься беде...
Даже хочется плакать, как Родину жалко,
Как ей хочется с первой полочки купить
Простоватую теплую ширь полушалка,
Где промез васильков — золотистая нить...
Не ржаное, а ржавое нищее поле,
Все морщинки да трещинки — вдовья рука...
Божья воля на то или русская доля,
Чтобы веной больной набухла река?
Так банальна тоска, что, о, господи Боже,
Лбом — в граненый мираж, и сграбастать виски...
С каждым веком и вздохом все кажется больше
Несказанной, неслыханной этой тоски...
Эти горечь и стыд, и беспомощность эта,
И шершаво на совести — как нечиста...
И как будто еще не случалось поэта —
От испуга и подвига медлят уста...

2

Стыдно признаться, — стихами обидела
Родину, дальше которой не видела
В сизом прогорклом дыму...
Видела: квохчут пузатые голуби,
А журавли — словно ангелы голые —
С кончика кисти — во тьму...

Родина! Нас разлучили инстанции:
Стены бетонные, лезвия-станции,
Господи, это же ты...
Это жилище ли? Ответ пожарища?
Остановите окошко! Пожалуйста!
Избы... Деревья... Кресты...

3

Что пустыми словами сорить
С высоты Вавилона и века...
Эти ветхие кровли корить
Не посмеет и пьяный калека.
Здесь у каждого что-то болит:
Жмутся в тамбурном дымном соседстве,
Потирая протез, инвалид
И художник, массируя сердце...
Что ж, такая, как видно, судьба, —
Прячу взгляд пристыженного вора:
Глушь и святость... Слепая изба
Под защитой хромого забора...
И мелькают (была — не была?..)
Горб и ведра... Понурия, — лошадка...
Валидол или дрянь из горла
Хороши от российских ландшафтов...

4

«Калининские мы, — соседка говорит. —
Отец наш немцев ждал — чай, наведут порядок...
Явились... Наш-то фриц — крест, как в церквах, горит...
И конь — что наша печь, а не ушами прядать...
Нас, восьмеро сестер, не тронул ни одной,

Зато ему, видать, пондравилась корова —
Как хватит за рога... А батя был хмельной:
“Грабители! — кричит. — Катитесь поздорову!”
А немец автомат наставил — ну и ну —
Как есть, ему в живот. А мы — реветь как стадо...
И как мы, — говорит, — отбились в ту войну?
Ей-богу, не пойму... А вы — из Ленинграда?..»

5

О, сколько можно об одном, и без вина и при вине,
И, подогретая вином, неужто истина — в войне?
О чем вы, Господи, о чем,
Друг друга чувствуя плечом,
Как будто не было Эллады,
Потопа, ига, наконец...
«Где мать? — расспросят. — Где отец?
Какие раны и награды?..»
И даже я (на что уж я...),
А все же — школа и семья —
Горжусь, что я из Ленинграда...

Ах, самозванцы... Для земли
Мы все равны, как перед Ликом...
И что с того, что нарекли
Свое Отечество — великим...
Иконы выдрали из сот,
Свои портреты вставив в ниши,
И шестилетний эпизод
Внесли истории превыше...

В России любят вспоминать.
И проклиная — вспоминают,

И вспоминая — поминают
Свою, изысканную, мать...

Не оттого ль, что с той весны
(Чем дальше — кажется, что ближе...)
России верные сыны
Могли увидеть только сны,
А не Берлины и Парижи...

А кто-то пьяной хрипотцой
«Хотят ли русские...» заводит,
И не найти его лицо
В темно сомкнувшемся народе...

1976

Из цикла «Диагноз»



Ну не торопить же эту дату...
Просто жить, любуясь на зверей.
Белка, лира тёплая, куда ты?
Мы с тобой придумаем хорей!
Сочинить бы солнечную книжку,
Чтобы листья на деревьях — в пляс,
Чтобы кошка в рыженьких штанишках
С холмика за домом поднялась...
Но опять нездешним острым светом
Взгляд мой тихий режет и болит.
Отчего суров Господь к поэтам,
А подонкам так благоволит?
Не ропщу — сравнив судьбу с другими,
Просто жжёт навязчивый вопрос...
Пусть моё бесхитрое имя
Станет маркой новых папирос:
Господа, курите на здоровье,
Пейте жизнь! Танцуйте в гололёд!
Опрокинет шприц с нечистой кровью,
Или в небе лопнет самолёт. -
У Неё в богатом арсенале
Войны, наводнения, слова...
Ну а душу — как бы ни пинали,
Всё равно, упрямая, жива!

7 декабря 2005

По небу ангелы бегали
и оставляли следы,
лёгкие, розово-белые,
тоньше морозной слоды.
Яркое солнце ноябрьское
тихо за крыши скользя,
было похоже на яблоко,
так, что банальней нельзя.
Вот ведь какая идиллия,
если о жизни всерьёз.
Кремль, и Рейхстаг, и Бастилия
ниже, чем уровень слёз...

7 декабря 2005

Что поделаешь, мы не бессмертны,
не бессменны, не пали с небес...
И судьбы голубые конверты
получаем с доплатой и без.
И теперь, в ожидании итога,
усмехнусь, посмотрев на часы,
что грехи в бухгалтерии Бога
нерадиво кладут на весы...

8 декабря 2005

Картинных галерей падающий тихий свет,
Торжественный покой страстей, зажатых в рамы.
Как ясно на душе... Нас не было и нет.
И чей-то острый шаг — как зуммер телеграммы.
Мне живопись давно дороже, чем слова.
Я так и вижу рай: с ликующим паркетом...
Вот бабочка Дега... Вот мокрая трава...
А за окошком вход, оцепленный пикетом.

8 декабря 2005

Я в белый коридор ступила,
шелестя,
Отметив на ходу, что здесь не мел,
а мрамор...
Один порыв — туда, где сын — ещё дитя,
Второй — туда, где ждут,
обнявшись, папа с мамой.
Вот так бы и застыть:
ни взад — и не вперёд...
На этой высоте — дыхание
с перехватом...
Невидимый другим
пронзительный полёт,
Где чувствуешь себя
смертельно виноватым.

9 декабря 2005

Всё будет также, как при мне,
хотя меня уже не будет:
щербинка эта на луне
и суетящиеся люди.
И золотое Рождество
с его цинизмом, китчем, сказкой,
и детской правды торжество
в тетрадке, названной «раскраской».
Мы наполняем трафарет
беспечной зеленою надежды.
Шальной прибой, полночный бред,
зимы весёлые одежды.
И вдруг в предчувствии конца
печаль под сердцем шелохнётся.
И от Небесного отца
лицо к земному обернётся.
Какой отчаянный бедлам
трудов и дней беспутно ленных...
И сердце рвётся пополам
на Здесь и Там, на две Вселенных...

9 декабря 2005

Белка считала кошку мою — разбойницей.
Кошка считала, что белка была нахалкой...
А по-моему в мире всё ещё успокоится,
упокоится, просвистев
в воздухе
яркой скакалкой.
У меня уже очень мало осталось времени:
90-й Псалом звучит сурово и просто...
Разбирайтесь сами. Мне дороги оба имени.
Распахать бы поле, успеть бы посеять просо...

9 декабря 2005

не хочу заведовать
не могу завидовать
я люблю загадывать
горло в шарф заматывать
выйти в город ветренный
мне одной доверенный
дождиком пропитанный
вежливый воспитанный
где у всех стаканчики
будто одуванчики
мне ж ладонь — посудницей:
выпью каплю —
сбудется

9 декабря 2005

Мне опостылела кровать
И смиренный саван шить...
Мне надоело умирать —
И я решила — жить!

Вернуться к прерванным делам,
К укладке кирпичей.
Наперекор антителам
И выдумкам врачей.

Любой нарост — не больше glands,
И, значит, скажем: нет!
Что знает бледный лаборант
О силе наших недр...

О сопроаме от Стиха,
О рифмах начеку...
Проснёмся раньше петуха:
Весна, ку-ка-ре-ку!..

10 декабря 2005

От первой строчки всё,
от первой строчки...
Все заморочки,
и дойти до точки.
И вдруг себя увидеть из трамвая:
Живая! Ещё живая!

Ещё друзьям протягиваю руку,
Ещё успею выучить науку.
Залечь бы только с книжкой на диване...

Кто там шепнул: «науку расставаний...»?..

10 декабря 2005

Дети полукультуры	5
Дети полукультуры (автобиография)	6
«Что-то стала сниться вся жизнь, по сериям...»	15
«Воскреси! Взгляни, что творится...»	16
«Зачем ты, зеркало, мое мамино лицо...»	17
«Кладбищенский Ангел мне дверь отворил...»	18

«А умирать — на родину, дружок...»	21
«Помню, как это было: письмо — из-за рубежа...»	22
«Как проста в России нищета...»	23
«У эмигрантов не было взрывчатки...»	24
«И как будто опять сотворенье начал...»	25
«Знаю: Родина — миф. Где любовь — там и родина...»	26
«Чужая речь как птичий щебет...»	27
«Ах, фломаркт — путешествие бедняка...»	28
«Человек-невропат...»	29
Невеселая песенка	30
«Метастазы грозы раздаются в осеннем саду...»	31
Монолог	32
«Солнце осеннее...»	33
«Ностальгия — не выдумка большевиков...»	34
«Россия, родина...»	35
«Если я и люблю иудейский печальный народ...»	36
«Болдинская штутгартская осень...»	37
«Папа видел Берлин в 45-м году...»	38
«Ты, Германия, — Обмания...»	39
«Провинция, ты рай для Хлестакова...»	40
«В полвека век свой доживать...»	42
«Кизила яркие молекулы...»	43
«На площади...»	44
«Я вспоминаю Тауэрский замок...»	46

«Раньше снился Париж...»	47
«Будто в царстве теней — так тиха эмигрантская жизнь...»	48
«Отсюда — так незыблемо и свято...»	49
«Право, славно — выпить православно...»	50
Матерям моряков посвящается	51
«Досмотреть эту жизнь до конца, проморгав переход...»	52
«Как хочется, отринув графоманов...»	53
«Умереть в нищете и безвестности...»	54
«Мне кладбища милее улиц...»	55
«Провинциальный мой покой...»	56
«Рождество под дождём — дождество...»	57
«Золотые ангелочки, свечки, пряник, Рождество...»	58
«Плохо человеку — одному...»	59
«Интеллигенты советской поры...»	61
«Русский немец — он более русский...»	62
«Невнятен мне иврита иероглиф...»	63
«Я живу на ROTWEG, 43...»	64
«О смерти — рано... Поздно — о любви...»	66
«Стих не выдохнуть: в горле — комом...»	67
Памяти поэта	69
«Не в стране, не в году...»	70
«Интернет заменяет книгу, как интернат — родителей...»	71
«Уронил каштаны Киев...»	72
Памяти чешского студента Яна Палаха	73
«Семь лет — один ответ...»	74
«Я помню всё: клеймо космополита...»	75
«Боюсь людей передовых...»	76
Консервативные стихи	77
«Не то чтоб думаю, но вдруг...»	78
«Когда болит стихотворенье...»	80
«В нелюбимом городе жить...»	81
«Не в Штутгарте на кладбище еврейском...»	82
«Лёгкий — с изнанки жары — холодок...»	84
«А на поле-то — господи боже ты мой...»	85
«Глупости говорим, банальности...»	86
«Повернусь на левый — к чему просыпаться рано?...»	87

жизнь без запятых и с маленькой буквы	88
«На кухне, в полночь, о Цветаевой...»	89
Памяти Лидии Алексеевны	90
«Эти взгляды в чужие кошельки, и зависть, и спесь...»	91

СТИХИ НА ПЕСКЕ
(израильский дневник)

«И горы облаков, и кактусов отары...»	95
«Сколько в компьютере божьем оттенков зелёного...»	96
«Мой друг опять невыездной...»	97
«То ли ломится бешеный яркий ландшафт...»	98
«На зубах скрипел песок...»	99
«Дождик. Муторно. Жди гостинца...»	101
«...Земную жизнь пройдя до половины...»	102
«Лена, Володя, Наташа и Миша...»	103
«Храни друзей моих, Господь...»	104

Из первой книги стихов
«ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ СНЕГ»
(стихи 70-х)

«Деревья никуда не улетают...»	108
Родословная	109
«Мандарины зимой удивительно пахнут...»	110
«Слипаются фразы: совсем разучилась читать...»	111
«Мой полубельый-получерный...»	112
«До обидного прост и недолог...»	113
«Весь город меняет квартиры...»	114
«В гранатовом зерне...»	115
Родителям	116
«Словно важное что-то в толчее потеряла...»	117
Снегопад	118
«И пока на морозном конверте окна не погашена марка...»	121
«Не плачь. А плащ пускай сверкает...»	123
«Прощаться легче в аэропорту...»	124
Утро в новом городе	126

«Тихо засыхает запятая...»	130
«Религия? — О прошлом не жалею...»	131
Призвание в любви	132
Деревенский эскиз	137
«Зачем пейзажем берем...»	141
«Пастернак будто внове — в траве...»	142
«Не отражают зеркала...»	143
«Кажется?...»	144
«Двоюродный лире певучий кувшин...»	145
«Загнуты, как фантики...»	146
«Клеенка. Стакана ребро...»	147
«Через плечо заглядывая в книгу...»	148
«Поиграю дразнящей бумажкой...»	149

Из книги «ПОДЗЕМНЫЕ ЦВЕТЫ»

(стихи 1980–1987 гг.)

«Кому даны слова — тем четки не нужны...»	153
Памяти А. Морева	154
«Не могу отрешиться от горестной нашей судьбы...»	155
Эрмитаж	156
Пучок сонетов не-о-любви	157
«Россия. Ночь. Атараксия...»	162
Письмо в зону	163
Прогулка с сыном вдоль забора детского дома	165
А. В. Македону	166
Ночное дежурство	167
«О, времена: нужник, наждак...»	168
«Нет, не за то, что нет чесночной...»	170
«Не живопись, а жиропись. И не...»	171
«Ни живого огня у печи и свечи...»	172
«Не беда, если копится тихая грусть...»	173
«Кто ждет конца, а кто — начала Света...»	174
«Не то чтоб эту или ту...»	175
«Восхитительных луж и обшарпанных стен...»	176
«Ну что, народники, жалеющие народ...»	177
«как волхвы над колыбелью под звездой ритуальной...»	178

«И не видеть в упор, и не слышать вестей...»	179
Похмелье	180
«Пора простить себе потерянный покой...»	181
«Эти черточки, точки, черты...»	182
«Июльский город — рай полупустой...»	183
«Двуглавый золотой матриархат...»	184
«Чудес не бывает. Не сядет на шпиль самолет...»	185
Мои современники (венки сонетов)	186
Реминисцентное	194
«Мать и мачеха, Родина, мощной шеренгой — дубы...»	195

Стихи, написанные накануне путча в августе 1991 года

«А кто-то все еще рождает...»	199
«У залива лежать терпеливо...»	200
Баллада о коммунистической ветчине	202
«Мечтала хоть час посидеть одиноко у моря...»	203

Из истории одного стихотворения

Стихи в поезде	205
----------------------	-----

Из цикла «Диагноз»

«Ну не торопить же эту дату...»	211
«По небу ангелы бегали...»	212
«Что поделаешь, мы не бессмертны...»	213
«Картинных галерей шадящий тихий свет...»	214
«Я в белый коридор ступила, шелестя...»	215
«Все будет также, как при мне...»	216
«Белка считала кошку мою разбойницей...»	217
«Не хочу заведовать...»	218
«Мне опостылела кровать...»	219
«От первой строчки все, от первой строчки...»	220



«ALEXANDRIA PUBLISHING»

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ!

Издательство «ALEXANDRIA» принимает на редактирование и подготовку к печати авторские рукописи. У нас работают опытные редакторы, корректоры, художники-дизайнеры. Люди, знающие свое дело и выпускающие книги самого высокого уровня.

***В редколлегию издательства вошли
известные деятели искусства:***

Семен Альтов (Санкт-Петербург), Виктор Богорад (Санкт-Петербург), Сергей Голлербах (Нью-Йорк), Михаил Городинский (Аахен), Михаил Жванецкий (Москва—Одесса), Григорий Капелян (Нью-Йорк), Ирина Лейкина (Нью-Йорк), Лев Поляков (Нью-Йорк), Семен Лившин (Сан-Диего), Галина Славская (Вашингтон), Александр Сумеркин (Нью-Йорк).

Издательство «ALEXANDRIA» только для избранных:

избранных (вами самими) стихов,
прозы,
воспоминаний,
юмористических произведений,
других литературных форм и жанров.

Напечататься у нас — роскошь, доступная каждому, ведь наш девиз:
«Цены низкие — качество высокое!»

В Америке **связи** (как и везде!) решают все. **Свяжитесь с нами:**
тел. 718. 849-2708 — и мы договоримся!

Е-mail: bookva2005@mail.ru
bookva2005@verizon.net
bookva2005@yahoo.com

Издатель Александр Киселев
Главный редактор Александр Шкляринский

Ольга Бешенковская

БЕЗЗАПРЕТНАЯ ДАМЬ

Изд. лицензия ЛР № 065684 от 19.02.98
Подписано в печать 15.11.05. Формат 70х100¹/₃₂
Гарнитура BodoniC. Печ. л. 13,5.